

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Одеський національний університет
ім. І. І. Мечникова

УДК 81(02)

В. Г. Волошин

Головний редактор
Editor-in-Chief

МОВА

Науково-теоретичний часопис
з мовознавства

№ 5–6

Фонетика • Семантика • Лексикологія • Синтаксис

Одеса
«Астропринт»
2001

УДК 81(05)

Головний редактор
Editor-in-chief

Юрій Олександрович КАРПЕНКО
Jurij O. KARPENKO

Заступники головного редактора
Vice-editors

Дмитро Семенович Іщенко
Dmytro S. Ishchenko
Ірина Михайлівна Колегаєва
Iryna M. Kolehajeva

Відповідальний секретар
Secretary

Сергій Миколайович Єрмошкін
Serhij M. Jermoshkin

Члени редакції

Олександр Іванович Бондар
Oleksandr I. Bondar
Лідія Миколаївна Голубенко
Lidija M. Holubenko

Редакційна колегія

Н. В. Бардіна, І. П. Бондаренко,
Т. О. Бровченко, М. І. Зубов,
В. К. Коляда, А. К. Корсаков,
Е. І. Костильова, В. А. Кухаренко,
Н. Г. Рядченко, А. К. Смольська,
Н. М. Тхор, М. М. Фащенко, Л. Ф. Фоміна,
Н. М. Хрустик, В. В. Шишков, М. З. Яцій

Часопис зареєстрований (1993) в Управлінні у справах друку Одеської обласної державної адміністрації, свідоцтво про реєстрацію № 167

The journal is registred (1993) at the Press department of the Odesa Regional state Administration, registration certificate № 167

Адреса редакції: Україна, 65058, Одеса, Французький бульвар,
24/26, каб. 85.

Телефон/Факс (0482) 24-10-81

Рекомендовано до друку Вченою радою ОНУ,
протокол № 8 від 27 квітня 1999 р.

Видання здійснене за фінансової допомоги МВФ
у межах проєкту 6205 "Українське мовознавство"

ISBN 966-549-570-4

© Одеський національний університет
ім. І. І. Мечникова, 2001

Экспериментальные методы в лингвистике

Экспериментальная фонетика в настоящее время развивается как наука, интегрирующая и переосмысливающая в соответствии со своими задачами знания и методы из ряда смежных областей: акустики, психоакустики, информатики, когнитивной психологии, распознавания образов, искусственного интеллекта. Это связано с особенной природой фонетики, которая изучает речевые сигналы, имеющие двойную природу: ментальную и физическую.

Поэтому фонетика как экспериментальная наука изучает вопросы ментальных единиц и их соотношения с физическими характеристиками речевых сигналов.

Этим обусловлены значительные трудности в планировании и проведении экспериментов в лингвистике. Здесь важно не только зарегистрировать те или иные физические параметры речи, но и определить их значимость с точки зрения категориальной фонетической интерпретации. Для проведения лингвистических экспериментов требуется тщательный отбор речевого материала, определение условий проведения эксперимента, способ фиксации результатов, а также принцип их научной интерпретации. Центральным фактором любого лингвистического эксперимента является стремление к максимальной объективности и точности результатов исследования, что обеспечивается возрастающим применением количественных и экспериментальных (инструментальных) методов, а также проникновением в лингвистику математического мышления [1, 2, 4].

Следует подчеркнуть, что раскрытие теории, лишенной убедительного эмпирического обоснования, как правило, объединяется обилием умозрительных построений, далеко не всегда поддающихся даже простой проверке, а нередко и внутренне противоречивых. Методология языковедческих исследований настоятельно требует создания надежной экспериментальной методики для изучения непосредственно не наблюдаемых лингвистических объектов и связей.

Невыполнение этого требования на практике приводит многих языковедов к обнаружению глубокой антиномии, противопоставляющей фундаментальные лингвистические теории и их приложения к языковому материалу. Не располагая средствами оперативной проверки языковой действительности, они вынуждены использовать одновременно несколько взаимоисключающих друг друга гипотез.

Мощным средством оперативной проверки теоретических гипотез является спланированный и теоретически обоснованный эксперимент. Важнейшей задачей языкознания является развитие теории и практическая ее проверка методами лингвистического эксперимента. Эксперимент является основой для теоретических выкладок и дает возможность науке преодолеть барьеры, отделяющие ее теорию от языкового материала [3, 5, 7, 10].

Для эксперимента классического типа характерно, прежде всего, наличие четко сформулированной гипотезы и объекта, допускающего количественные измерения зависимых и независимых переменных в строго определенных условиях. Вариативность речевого сигнала и многофакторность условий при их реализации предполагают переход от отдельных принципов варьирования значений экспериментальных переменных к комплексному изучению последних. В подобных случаях надо применять многомерные или многофакторные эксперименты с анализом данных, используя при этом методы многомерного шкалирования и многомерной математической статистики [4, 6, 9, 11].

Не все научные вопросы поддаются прямому экспериментальному решению. Как правило, вопросы самые абстрактные и общие не поддаются прямой экспериментальной проверке. Их следует разложить на более конкретные проблемы, прямо переводимые в экспериментальные процедуры. Таким образом, в ходе планирования экспериментальной проверки некоего общего положения или при обратной процедуре построения теории из экспериментальных данных имеются две качественно различные операции. Одна из них заключается в движении вверх или вниз по шкале абстрактности, вторая требует перевода абстракции в экспериментальную процедуру или обратно.

Заключительным и довольно трудоемким этапом экспериментального исследования явля-

ется обработка полученных данных (измерительной информации). В современных условиях, когда важным становится не только результат, но и наиболее рациональные пути его получения, оптимизация обработки и надежность экспериментальных данных приобретает решающее решение [4,9,10].

На основании вышеизложенных положений об организации лингвистического эксперимента и методики проведения экспериментально-фонетических исследований в лаборатории ЛЭФ ОНУ автор в данной статье предлагает комплексный метод спланированного лингвистического эксперимента (Рис.1).

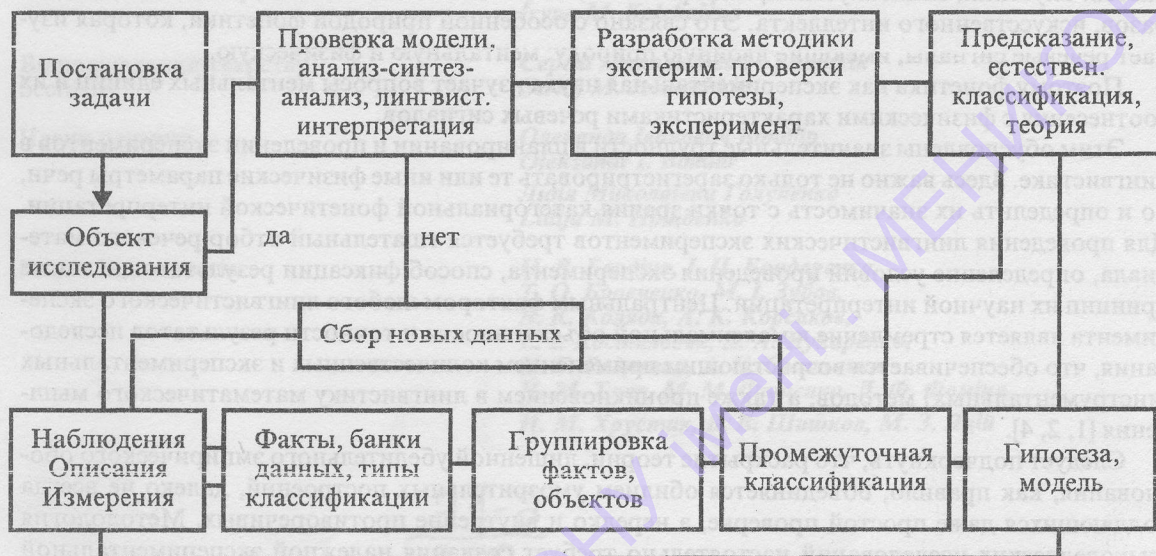


Рис. 1 Процесс получения знания методами лингвистического эксперимента

В методе предусмотрены основные этапы проведения эксперимента, обязательные при выполнении лингвистического исследования. Комплексный метод включает такие основные пункты исследования:

- постановка задачи и выбор объекта исследования;
- лингвистический анализ литературных источников и отбор речевого и текстового материала, реализуемого в практике изучаемого языка по проблеме исследования;
- высококачественная запись речевых фрагментов в реализации носителей языка в естественных и студийных условиях;
- многоэтапный аудитивный анализ, включающий три этапа: слуховой, аудиторский с информантами – носителями изучаемого языка, аудиторский со специалистами-фонетистами;
- функциональный анализ, включающий проведение интонографического и спектрально-го анализа речевых фрагментов и обработку количественных значений методами многомерной математической статистики;
- обобщение, описание и установление взаимосвязей между количественными и качественными показателями результатов эксперимента с проверкой их статистической надежности;
- лингвистическая интерпретация результатов аудиторского, электроакустического анализа и установление общих и различительных признаков описания объекта исследования;
- построение модели на основании полученных данных и проверка предполагаемой гипотезы методами анализ-синтез-анализ;
- основные выводы и описание теоретических положений новой гипотезы.

Любой эксперимент в лингвистике неизменно сопровождается операциями измерения, методологию которых составляют перцептивные и инструментальные измерения. Инструментальные измерения значительно уточняют данные, полученные при чувственных измерениях, и дают исследователю возможность провести многосторонний анализа объекта своего исследования. Теория измерения помогает исследователю понять, каким образом количественная информация соотносится с материальными отношениями объектов измерения и какие качественные различия лежат в основе выявленных количественных характеристик [8, 9, 10].

Основными критериями процедуры измерения являются воспроизводимость, адекватность

и трудоемкость. Необходимость сравнения различных результатов измерения выдвигает требование воспроизводимости измерения.

Адекватность измерения в значительной мере определяется выбором измеряемого свойства объекта, т.е. тем, насколько данное измеряемое свойство отражает существенные характеристики объекта в рамках поставленной задачи. Выбор измеряемого свойства объекта и процедуры определения соответствующего ему числового значения осуществляется в ходе качественного анализа, непосредственно предшествующего измерению. После того как измерение произведено, исследователь вновь прибегает к качественному анализу, который позволяет оценить степень соответствия, или адекватности, результатов измерения. Повышение адекватности измерения при фиксированном уровне воспроизводимости обычно связано с увеличением трудоемкости измерения. Использование более совершенных методов и средств измерения, в частности, компьютерной технологии способствует уменьшению трудоемкости измерения.

Поскольку любое измерение есть приписывание чисел объектам по определенным правилам, то для того чтобы осуществить операцию измерения, следует знать, во-первых, правила приписывания чисел объектам, т.е. правила шкалирования, и, во-вторых, математические операции, разрешенные над приписанными числами.

В соответствии с этим в теории измерений выделяется четыре типа шкал, или четыре уровня измерений, к которым относятся:

1. Шкала наименований (номинативная шкала).
2. Шкала порядка (ординальная шкала).
3. Шкала интервалов.
4. Шкала отношений (пропорциональная шкала).

При осуществлении измерений на уровне шкалы наименований указывается лишь то, что какой-то объект отличается от ряда других объектов. Числа в данном случае выступают в роли некоторых обозначений и поэтому в случае необходимости их можно заменить буквами или словами. Построение и использование шкалы наименований предполагает классификацию данных, т.е. их распределение по определенному числу классов [11].

Шкала порядка не только различает объекты, но и упорядочивает их по рангам в определенном отношении, т.е. выстраивает объекты в ряд относительно измеряемого свойства. Это означает, что для любых двух объектов можно указать, какой из них в большей (меньшей) степени обладает данным свойством. Шкала интервалов характеризуется тем, что она не только упорядочивает объекты, но и соотносит их с точки зрения измеряемого свойства с некоторым числом, определяемым с точностью до какого-то интервала. Иначе говоря, данная шкала позволяет установить, каково различие или расстояние между двумя объектами в каком-либо отношении.

Шкала отношений — это шкала высшего порядка, которая, помимо того, что упорядочивает объекты, еще и совершенно точно соотносит каждый из них с некоторым числом. Эта шкала показывает, что отношение между двумя рассматриваемыми объектами равно отношению между двумя другими объектами, как и равны числовые значения, приписываемые объектам, обладающим этими свойствами.

К шкалам интервалов и отношений применимы многие виды статистической обработки.

Очень важно фонетисту-экспериментатору знать основные понятия методологии, с которыми чаще всего он будет сталкиваться. Сюда в первую очередь относятся:

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1) объекты, события; | 6) частное измеряемое свойство; |
| 2) фрагмент реальности; | 7) эталон; |
| 3) компаратор; | 8) измеряемая величина; |
| 4) общее измеряемое свойство; | 9) масштаб измерения. |
| 5) физическое соединение объектов или сигналов; | |

При проведении фонетических экспериментов очень часто наблюдается большой разброс результатов измерений. Этот разброс может быть вызван не только ошибками измерений (систематические, случайные, грубые) но и самой природой фонетических объектов и процессов лингвистических явлений. Это объясняется тем, что речевой сигнал отличается значительной вариативностью. Поэтому от лингвиста требуется особая тщательность при отборе речевого материала, высокое качество экспериментальных записей и очень строгая обработка результатов измерений, основанная на принципах системности. Как известно, эффективность любых

научных исследований в конечном счете определяется совокупностью методов и средств для получения достоверной количественной информации. Поэтому лингвист-экспериментатор должен уделять особое внимание тому, что надо измерять, где надо измерять, как надо измерять, при помощи чего надо измерять, какие характеристики следует учитывать при интерпретации результатов измерений. Наличие определенного произвола в выборе методов, средств и единиц измерения звуковой материи языка, которая сейчас существует в научных работах, часто приводит к путанице, недоразумениям и противоречиям, что затрудняет обобщение и сопоставление результатов, полученных в различных исследованиях.

Описание основных приемов и способов измерений параметров речевого сигнала и методик проведения лингвистических исследований можно найти в работах [4, 5, 6, 10].

При проведении измерительного эксперимента в лингвистике необходимо постоянно иметь в виду, что количественное изучение материальной стороны языка — это не самоцель, а лишь средство для выявления внутренних закономерностей, присущих звучащей речи. Измерительный эксперимент должен непременно сопровождаться лингвистической интерпретацией полученных результатов. Необходимость в такого рода интерпретации обусловлена тем, что лингвистическая реальность не выводится непосредственно из измеряемых параметров речевого сигнала. Численные характеристики не дают прямого представления об исследуемых фонетических манифестациях. Поэтому на этапе обработки экспериментальных данных знание основ теории измерений позволяет исследователю определить, каким образом полученные численные характеристики отражают структуру качественных отношений фонетических объектов, сигналов, событий, а также оценить, насколько выявленные качественные фонетические различия существенны для реализации фонологических свойств звуковой материи языка.

Таким образом, творческое изменение основных положений метрологии и теории измерений в области лингвистики способствуют повышению степени достоверности, точности и надежности получаемых результатов. Это делает возможным развитие теоретических основ метрологического обеспечения в области лингвистики, разработку общих принципов оптимизации постановки и осуществления измерительного эксперимента.

Последний представляет собой метод исследования, основанный на серии научно поставленных опытов по выявлению количественной оценки, характеризующей деятельность и свойства человеческого голосового и слухового аппаратов. В условиях, когда речь идет о получении наиболее достоверных результатов перцептивных и инструментальных измерений, научно обоснованный выбор методики и соответствующих способов и средств измерений, анализ степени их оптимальности приобретает особую актуальность.

1. Блохина Л. П. Просодические характеристики речи и методы их анализа. — М., 1980.
2. Блохина Л. П., Потапова Р. К. Методика анализа просодических характеристик речи. — М., 1982.
3. Бондарко Л. В. Осциллографический анализ речи. — Л., 1965.
4. Бровченко Т. А., Волошин В. Г. Методические указания по математической обработке и анализу результатов фонетического эксперимента. — Одесса, 1986.
5. Зиндер Л. Р., Бондарко Л. В., Вербицкая Л. А. и др. Проблемы и методы экспериментально-фонетического анализа. — Л., 1980.
6. Михайлов В. Г., Златоустова Л. В. Измерение параметров речи. — М., 1987.
7. Налимов В. В. Теория эксперимента. — М., 1971.
8. Пиотровский Р. Г. Информационные измерения языка. — Л., 1968.
9. Супнес П., Зинес Дж. Основы теории измерений // Психологические измерения. — М., 1967.
10. Цеплитис Л. К. Измерение речевой информации. — Рига, 1974.
11. Яноши Х. Теория и практика обработки результатов измерений. — М., 1968.

Функционирование нестабильной фонемы /x/ в болгарском диалектном континууме

Если иметь в виду, что слово — основной языковой знак, необходимо учитывать, что его структура раскрывает важные закономерности, отраженные в комбинации, дистрибуции и трансформации, в появлении и исчезновении фонем и слогов как первичного строительного материала.

Во многих болгарских диалектах отражена тенденция к изменению (часто сокращению) фонемного состава слова, и данный материал является весьма разнообразным и показательным и, как нам кажется, заслуживает внимания как с точки зрения диалектологии, так и с позиций общей языковой теории.

В отличие от консонантной корреляции мягкость-твёрдость, которая в большинстве славянских языков имеет неодинаковую судьбу, корреляция звонкость-глухость в основном не демонстрирует глубоких расхождений. Различия в фонемных системах чаще всего обнаруживаются в функционировании тех согласных, которые не включаются в данную корреляцию. В рамках болгарского языка и его диалектов наиболее интересное развитие и дистрибуция наблюдается у фонемы /x/. Сразу отметим, что консонантные фонемы, подвергающиеся в речевой практике элизии или субституционным заменам, мы называем нестабильными.

Разумеется, внепарность, отсутствие оппозиции в системе не может рассматриваться как единственная причина нестабильности фонемы. С позиции нестабильности релевантны и артикуляционная характеристика звука-репрезентанта, и иноязычное, и субстратное влияние в языке (диалекте), а также некоторые другие факторы. Необходимо также отметить, что фонемы по-разному проявляют нестабильность в зависимости от позиций в структуре слова.

В предлагаемой работе представлена попытка анализа функционирования фонемы /x/ во всех основных группах болгарских диалектов. Мы опираемся на традиционную классификацию болгарских говоров, принятую в современной болгарской диалектологии и основанную на различии в болгарском диалектном континууме двух основных наречий: восточного и западного, однако считаем целесообразным и необходимым классифицировать исследуемый материал также с учетом позиций нестабильных консонантов, принимая во внимание не только их место в слове (инициальная, медиальная и финальная позиции), но и их фонетическое окружение, а также функционирование нестабильных фонем в отдельных грамматических категориях в составе некоторых формообразующих морфем (напр., 1, 2, 3 sing. и 3 pl. аориста и имперфекта).

Важно отметить, что в рамках болгарского литературного языка, в отличие от некоторых других литературных языков, например, сербского, фонематическая нестабильность практически не представлена, что обусловлено, вероятно, строгой и четкой кодифицированностью норм литературного языка. Нестабильность фонем проявляется, как правило, на диалектном уровне. Так, употребление [x] в литературном болгарском языке не ограничено определенными фонетическими позициями. Ст. Младенов писал, что «в новобългарския книжовен език той (/x/) винаги се запазва там, където е бил в старобългарски, докато народните говори се освобождават от него частично или напълно» [8:150] и что «книжовният език подкрепя със старото писане един почти изкуствен изговор» [8:151].

В нынешних условиях повсеместного нивелирования диалектов, обусловленного прежде всего большим влиянием литературного языка, все сложнее оказывается выявить истинные, первичные особенности конкретных диалектов. Не случайно все чаще диалектологи обращают внимание на примеры гиперкоррекции. Например, С. Керемедчиева отмечает, что «случаите на хиперкорекция като *haгъл*, *haфал*' и др. красноречиво говорят, че фонемата /x/ не е присъща на традиционната система на диалекта, обаче днес тя все повече започва да се наставява и фонологизира, главно под влияние на книжовния език» [5:98]. Таким образом, становится ясно, что в современных условиях исследование функционирования нестабильных фонем в диалектах является достаточно актуальным и своевременным.

Типологическому изучению нестабильных фонем в болгарском диалектном континууме

может способствовать Болгарский диалектный атлас и монографические исследования отдельных болгарских говоров. До сих пор ни в сравнительных грамматиках славянских языков, ни в обзорных работах по болгарской диалектологии не ставилась задача обобщения наблюдений над нестабильными консонантами. Наши сопоставительные наблюдения помогают отделить диалекты, в наибольшей степени сохраняющие /x/ и в этом плане приближающиеся к болгарскому литературному языку, от диалектов, в которых эта фонема в большинстве позиций оказывается утраченной.

Строго говоря, на всей болгарской языковой территории фонема /x/ последовательно сохраняется на своем этимологическом месте только в рупских говорах, являющихся одной из больших групп восточноболгарских диалектов, а точнее только в родопских (среднерупских) и фракийских (южнорупских) говорах. Родопские говоры занимают среднюю часть рупской диалектной области, в частности Родопский массив, и благодаря своему географическому положению хорошо сохранили архаичные черты. В данной группе диалектов наиболее часто отмечается сохранение фонемы /x/, но все же не во всех говорах. Напр., в хвойненском, смолянском и др. говорах наблюдается замена χ - i в окончаниях аориста [1:т.1,К.72]. Фракийские говоры занимают значительную территорию в рупском диалектном ареале, распространены не только в границах Болгарии, но и на значительных территориях в Восточной (турецкой) и Западной (греческой) Фракии. В южнофракийских говорах [x] редко выпадает в сравнении с другими рупскими говорами, напр., сярским [4:21], северно-фракийскими и мизийскими [1:т.1,К.70]. Как отмечает Т. Бояджиев, «измежду южнотракийските говори има такива, в които съгласната /x/ се пази на етимологичното си място във всички позиции: Ксантийско, Гюморджииско, Одринско, Малкотърновско, Виденско и в Мала Азия» [3:52]. Однако и здесь отмечены варианты словоформ с [x] и без него, что объясняется артикуляционной особенностью данного согласного во фракийских говорах, где достаточно часто он произносится как глайд, т.е. с частичной или полной деконсонантизацией. «Вместо нормално заднеязычно /x/ тази артикулация дава възможност да се развива слаб лабиален призвук [ʏf], което води до изчезването на /x/ или до стремеж да се възстанови консонантизмът с друга съгласна (ф) или друг глайд» [3:52]. Важно отметить, что в некоторых говорах (Одринско, Гюморджинско) в именных основах происходит изменение [x] в [ф], а в формах прошедших времен звук [x] сохраняется (напр., мѣф, но ходих). Подчеркивая именно эти примеры, Т.Бояджиев справедливо считает, что «тези случаи показват, че артикулацията на /x/ може да се загуби, а като морфема да се запази» [3:58].

Во всех других группах болгарских диалектов фонема /x/ является менее стабильной. По исследуемому признаку родопским и фракийским говорам противопоставляются мизийские, в которых эта фонема подвергается элизии и субституциям во всех позициях в слове не имеет фонологических коррелятов и, соответственно, лежит на периферии частных фонологических систем.

Наиболее слабой позицией является инициальная. Как показывают карты БДА, нет ни одного мизийского говора, где в данной позиции [x] сохраняется [1:т.1,К.86]. Перед нелабиализованными гласными этот звук, как правило, подвергается элизии. Однако, вследствие значительного диалектного смещения, характерного для всей северо-восточной Болгарии, имеет место широкий спектр вариантов. Особенно характерна вариативность в отношении /x/ для говоров Придунавья, где отмечаются варианты типа *айде* (наиболее часто) **айде*, *хайде*, **айде* и др. (см. БДА. Комментарии к карте № 86).

М. Младенов отмечал, что в говорах данной группы вариативность обнаруживается даже в одних и тех же словах в речи одного информатора [7:247]. Этот факт также свидетельствует о неустойчивости фонемы в данной позиции.

Перед лабиализованными гласными [o], [y] как в инициальной, так и в медиальной позиции отмечается изменение χ - ф: *фора* (*хора*), *фуро* (*хоро*), *фубе* (*хубаво*) и т.д. Наиболее последовательно данное явление наблюдается в говоре Епурешта и в селах, расположенных между Силистрой и Тутраканом, а также в говоре с. Бабово Русенского округа (См. БДА, т. 2, к. 86 и комментарии к ней).

Особенный колорит мизийской группе диалектов придает замена /x/ в глагольных формах прошедшего времени, в частности, аориста и имперфекта. Учитывая широкую вариативность субституций и опираясь на данные БДА, а также на диалектологические описания, сделанные

Л. Милетичем в работе «Източнобългарските говори», мы сделали попытку классифицировать основные типы замен /х/ в мизийских говорах. Имея в виду замену /х/ в 1 л. ед. числа, 1 и 2 л. мн. числа и 3 л. мн. числа, т.е. три характерные позиции: финальная, медиальная предконсонантная и медиальная интервокальная, считаем возможным выделить 5 типов субституций.

1. $Vx > V\ddot{y}$; $VxC > V\ddot{y}C$; $VxV > V\ddot{y}V$, VwV , $VшV$ (при V — вокал, C — консонант), т.е. в финальной и медиальной предконсонантной позициях произносятся $[\ddot{y}]$, а в интервокальной — $\ddot{y}$, w или $ш$, причем в речевом потоке часто оказывается сложно различить $[\ddot{y}]$ и $[w]$, а в быстрой ненапряженной речи при ослаблении артикуляционного процесса интервокальный звук зачастую полностью выпадает. При этом типе субституций отмечается такое произношение, как, напр., *б'аў* (бях), *утидуў* (отидох), *б'яўме* (бяхме), *газеўме* (газехме); *б'аўа* (бяха), *сп'аўа* (спяха), *викъwa/викъ'a* (викаха), *дадуwa/даду'a* (дадоха) и т.д. Т.о. можно считать, что замена /х/ звуками $[\ddot{y}]$, $[w]$ имеет маркированно морфологический характер, поскольку данное явление сопровождается лишь определенные формы парадигмы простых прошедших времен, а в именных частях речи в финальной позиции вместо $[x]$ выступает звук $[ф]$, напр. *глуф* (глух), *страф* (страх), *т'аф* (тях) и т.д.

2. $Vx > Vф$; $VxC > VфC$; $VxV > V\emptyset V$, т.е. в финальной позиции и между гласным и согласным выступает звук $[ф]$, а в интервокальной наблюдается элизия ($\emptyset$). Этот тип, однако, менее распространен.

3. $Vx > Vф$, $VxC > V\ddot{y}C$, $VфC$; $VxV > V\ddot{y}V$, $VвV$, т.е. в финальной позиции произносится $[ф]$, а в медиальной свободно варьируются $[\ddot{y}]$, $[ф]$, $[в]$, напр. *б'аф* (бях), *додуф* (додох); *б'аўми* (бяхме), *напраифми* (напраихме); *б'ава*, *б'аўа* (бяха), *пиўа* (пиха).

Поскольку в именных основах между гласным и согласным употребляется $[j]$ (*бъль < бълха*, *куйна < кухня*, *чежли < чехли* и т.д.), то чередование $ф - \ddot{y}/ф$, $в/\ddot{y}$ также имеет маркированно морфологический характер.

4. $Vx > V\ddot{y}$; $VxC > V\ddot{y}C$; $VxV > V\emptyset V$, т.е. в конце слова и между гласным и согласным функционирует $[\ddot{y}]$, а в интервокальном положении этимологический /х/ выпадает. Этот тип преимущественно распространен в говорах вдоль реки Лом до г. Разграда. Субституция /х/ звуком $[\ddot{y}]$ характерна как для глагольных, так и для именных основ.

5. Vx ; VxC , VxV , т.е. во всех позициях согласный $[x]$ сохраняется. Согласно данным БДА, говоры этого типа отмечаются в районе городов Велико-Тырново и Горна Оряховица [1, т.2, к. 94, 95, 96]. Младенов считает, что именно этот тип говоров «может да се сметне за най-старинен, незаsegnat от иновационни процеси» [7:257].

Как видно из вышеизложенного, по отношению к заменам /х/ в различных позициях мизийские говоры не представляют полного единства. Так, говоры в районе Селистра-Тутракан значительно отличаются от говоров в Разграде и Русенско именно тем, что в первых /х/ заменяется в основном $[ф]$, а во вторых — аллофонами $\ddot{y}/в/w$. Остальные группы болгарских диалектов в отношении функционирования /х/ более однородны.

Изученные и обобщенные нами данные БДА и других диалектологических исследований свидетельствуют, что в балканских говорах в финальной позиции как в глагольных, так и в именных основах /х/ заменяется, как правило, звуком $[ф]$, напр. *страф* < *страх*, *ходиф* < *ходих*, *т'аф* < *тях* и т.д., а в инициальной и медиальной позициях подвергается элизии. Среди балканских говоров можно особо выделить говоры еркечкой подгруппы. Их особенностью является взаимозаменяемость, смешение звуков $[x]$ и $[ф]$, т.е. зафиксированы случаи употребления не только $[ф]$ вместо $[x]$, что характерно для многих северо-восточных диалектов, но и $[x]$ на месте $[ф]$, причем как в глагольных, так и в именных основах, напр., *натрухат* < *натруфат*, *охци* < *ов(-[ф])ци*, *един лех* < *лев([ф])* и т.д. [6:105].

Что касается функционирования /х/ в переходных говорах между двумя основными наречиями болгарского языка, то в них также отмечается широкая вариативность, что объясняется их местом среди других болгарских диалектов. Как известно, переходные говоры занимают территорию, условно называемую «ятовый изоглосный пояс» и отражают постепенный переход от восточного наречия к западному. В ихтиманском говоре, одном из переходных, М. Младенов отмечает, что консонант /х/ встречается только в конце слова в различных морфологических категориях, как именных, так и глагольных: *влах*, *врѣх*, *грех*, *глух*, *тих*; *них*; *аресах*, *видох*, *готвих* и др. [7:35]. Как видно из примеров, даже если в слове есть два звука $[x]$ (один в инициальной, другой в финальной позиции), сохраняется только финальный $[x]$ (напр., *аресах* < *харесах*).

Инициальная и медиальная интервокальная позиции в говорах данного типа являются наиболее слабыми. В данных позициях [x] выпадает без каких-либо субституционных замен. Спорадически [x] встречается в середине слова перед согласным (бахча, сехтин и др.), а в речи молодого поколения отмечается и в других позициях, особенно в глагольных окончаниях простых прошедших времен.

Однако, по мнению М. Младенова, это явление не типично для говора и может рассматриваться как отклонение от внутридиалектной нормы [7:36]. Следовательно, наличие консонанта [x] в речи молодежи и среднего поколения выражает стремление к преодолению диалектной особенности и приспособление к литературной норме.

В фонетических системах говоров западного наречия фонема /x/ практически отсутствует. Как показывают данные БДА, в западных говорах /x/ чаще всего выпадает, не подвергаясь субституции. В инициальной позиции (как перед гласным, так и перед согласным) последовательно отмечается отсутствие начального консонанта. Элизия также отмечается и в медиальной (предконсонантной и интервокальной) позиции, где иногда образуется зияние: *дреа* (*дрехи*), *муа* (*муха*), *снаа* (*снаха*), *дуни* (*духни*), *мани* (*махни*) [2:23]. Как отмечает Р. Божков, иногда зияние устраняется звуками [в] (перед лабиализованными гласными) или [j] (перед нелабиализованными гласными) и наблюдаются варианты: *сухо* > *суво*, *су^о*; *дреха* > *дреја*, *дрѐа* и т.д. [2:24].

Интересно заметить, что именно такие замены /x/ приняты в сербском литературном языке, который, как и сербские диалекты, отражает нестабильность данной фонемы. Употребление протетического звука, по-видимому, является вторичным явлением, следствием элизии [x], как вероятно, и удвоение предшествующего гласного. отмечаемое во многих югозападных говорах: *спааме* (*спамхе*), *играаме* (*играххе*) и т.д. В финальной позиции также чаще всего происходит элизия консонанта: *врѣ* (*врѣх*), *кожу* (*кожух*), *сироме* (*сиромах*) и т.д. [1, т.3, К.71, 72]. В некоторых западных говорах (напр., пирдопском) отмечена замена финального [x] звуком [ф], что не характерно для данной группы говоров. По мнению М. Младенова, «това произношение е донесено в Пирдоп от преселници от околностите на Стара и Нова Загора» [7:26].

Итак, исследовав и проанализировав функционирование фонемы /x/ в различных фонетических позициях в современных болгарских диалектах, мы пришли к следующим выводам:

1. Исследуемая фонема наиболее стабильно функционирует в родопских говорах восточно-болгарского наречия. Во всех остальных диалектах фонема /x/ является в большей или меньшей степени нестабильной, подвергающейся элизии и субституциям, занимает периферийное место в частных фонологических системах.

2. Фонема /x/ имеет широкий спектр звуков-репрезентантов: от артикуляционных вариантов-аллофонов ([x] заднеязычный фрикативный с большей или меньшей степенью фрикации, фарингальный [h] и др.) до значительных субституций другими звуками (звонким [в], глухим [ф], глайдами [j], [ʝ] и полной элизии).

3. На субституции данной фонемы оказывает влияние ее фонетическое окружение, а также место в слове (инициальная, медиальная или финальная позиции), т.е. позиция в фонетической структуре слова.

4. Наиболее слабой позицией фонемы /x/ является инициальная, в которой она подвергается полной элизии как перед гласными, так и перед согласными.

5. Относительной стабилизации данной фонемы способствует ее участие в составе формообразующих морфем у глаголов в аористе и имперфекте.

6. В современных болгарских говорах отмечается большое влияние литературного языка, где фонема /x/ употребляется во всех этимологических и фонетических позициях.

1. Български диалектен атлас (БДА) / Под ред С. Стойкова, С. Б. Бернштейна: В 4 т. — София.

2. Божков Р. Димитровградският говор // Трудове по българска диалектология. — София, 1984. — Кн. 12.

3. Бояджиев Т. Българските говори в Западна (Беломорска) и Източна (Одринска) Тракия. — София, 1991.

4. Иванов Й. Българска диалектология. — Пловдив, 1997.

5. Керемедчиева С. Говорът на Ропката (родопска граматика). — София, 1997.

6. Милетич Л. Източнобългарските говори. — София, 1989.

7. Младенов М. Ихтиманският говор // Трудове по българска диалектология. — София, 1966. — Т. 2.

8. Младенов С. История на български език. — София, 1979.

Семантика двосемних прислівникових еквівалентів слова денотативного сприймання об'єктивної дійсності

В останні роки вчених-семасіологів об'єднала думка про те, що предметом семантики виявляється “не реальний світ, а концептуалізація світу” [3:47]. Отже, концептуалізація світу або побудова наївної моделі світу тепер розглядається як найголовніше завдання семантики, результат реалізації якої дасть можливість будувати мовознавчі дослідження у зіставленні з наївною картиною світу. Такі пошукові спрямування приведуть до того, що викристалізується основа “для виявлення універсальних і національно своєрідних рис у семантиці природних мов” [1:630]. Доцільним у зв'язку з цим видається розгляд особливостей мовних одиниць у фокусі мовної картини світу. Вчені-лінгвісти досить успішно працюють у цьому напрямку, про що свідчить поява багатьох праць, присвячених зазначеній проблемі [див., наприклад, 2; 6 і 11]. Незважаючи на такий активний рух у галузі семантики і намагання вчених якомога повніше відтворити наївну картину світу, деякі класи одиниць залишаються поза межами уваги дослідників або підлягають розгляду тільки окремі їхні елементи. До таких угруповань належать переважно одиниці між'ярусного характеру, зокрема так звані еквіваленти слів. Розглянемо деякі з них. Отже, предметом нашого дослідження є прислівникові еквіваленти слів (далі — ЕС), тобто одиниці, що перебувають на межі слова і неслова (фразеологізма або словосполучення). Р. П. Рогожникова, уклавши словник еквівалентів слова, у передмові до нього дала таке визначення зазначеним одиницям: “Еквіваленти слова становлять зв'язані сполучення, що характеризуються стійкістю, єдністю значення, у більшості випадків постійною, незмінною формою. В потоці мовлення еквіваленти слова становлять цілісну одиницю і щодо наголосу, звичайно вони мають один словесний наголос” [9:4]. Цим визначенням ми і будемо керуватися, аналізуючи семантику прислівникових ЕС, тобто одиниць, що за своїми граматичними характеристиками набули прислівникового статусу, а як елементи лексики ще тільки перебувають на стадії формування.

З метою осягнути специфіку макроструктурних особливостей прислівникових ЕС виникає необхідність у побудові семантичного поля, в якому існують досліджувані одиниці як елементи лексико-семантичної системи. Семантичне поле побудоване у вигляді матриці, в якій по вертикалі розташовані ЕС, а по горизонталі відображено їхню семну структуру. Упорядкування здійснювалося за ранговими списками як ЕС, так і сем. При цьому найвисокочастотніші ЕС починають ранговий список, а найменш частотні закінчують його. Щодо семного складу, то найвисокочастотніші семи починають горизонтальний ряд, який закінчується найменш частотними семами. Отже, будування семантичного поля у вигляді матриці за ранговими списками враховує застереження Дж. Лайонза від небезпечностей, пов'язаних з тим, коли семантичний аналіз “ігнорує відмінності у частоті лексичних одиниць (як наслідок, їх більш-менш “центральне” місце у словнику) і відмінності між лексичними одиницями та семантичними компонентами” [5:505].

Вивчення семантичного поля приводить до висновків про те, що найменшими за кількісним складом є різнопланові двосемні ЕС, які виявляються в сучасній російській мові досить поширеними. На базі матриці утворюємо таблицю двосемних ЕС.

Однією з сем цих одиниць є така, що свідчить про граматичну належність зазначених елементів, яку деколи в лінгвістичній літературі кваліфікують як граему. З 48 реалізацій сем цього плану 12 характеризують досліджувані ЕС як повністю трансформовані у прислівниковий клас слів, решта — як такі, що перебувають на цьому шляху, тобто функціонують у системі мови як аналоги прислівників. Іншою семою таких одиниць є та, що формує лексичне значення ЕС.

Частина матриці, в якій розташовано двосемні ЕС, показує, що семна структура останніх дуже хистка. Найрегулярніше експліцитно заповненими виявляються тільки ті стовпчики таблиці і матриці у цілому, які належать семам граматичного плану. Цей факт наводить на думку про те, що лексичну семантику досліджуваних одиниць необхідно характеризувати, відштовхуючись від їхньої граматичної семантики. Тому доцільним стає закладання в основу при вивченні індивідуальної внутрішньої структури прислівникових ЕС трьох базових семантичних елементів, які все частіше використовуються як основні у дослідженні граматичної семантики — ‘я’, ‘тут’, ‘зараз’ [7:39]. Такий підхід виявляється у руслі з філософським розумінням того, що

“наше пізнання поширюється з просторово-часового центру, який є крихітним відрізком, що ми займаємо в кожному певний момент” [8:17]. Отже, дослідження семантики прислівникових ЕС будемо, відштовхуючись від просторово-часової координати. Щодо наявності просторової семантики у прислівникових одиницях, то цей факт сумнівів не викликає, відносно ж темпоральної, то остання вважається деколи в мовознавчій літературі вторинною стосовно дієслівної. Однак у лінгвістичних дослідженнях сформувалася й інша думка про те, що часову семантику здатні самостійно (без допомоги дієслів) конституювати і такі одиниці, як прислівники, прийменниково-іменникові форми і подібні елементи, “залишаючи за дієсловом базову роль у формуванні предикативного ядра речення (категорії граматичного часу)” [11:84].

Дослідження починаємо з характеристики часової семантики прислівникових ЕС, оскільки у мові в цілому елементи, що позначають час, представлені детальніше і відзначаються більшою регулярністю. Відомо, що ця особливість не є притаманною тільки одній конкретній мові. І. О. Мельчук засвідчує, що “природні мови значно більшою мірою “чутливі” до часових координат, ніж до координат просторових” [7:48]. Аналіз двосемних прислівникових ЕС підтверджує таку думку, оскільки одиниць з семантикою часу виявлено 13, місця — 8. У зв’язку зі сказаним згадану схему доцільно сформулювати в такій послідовності: ‘я’ — ‘зараз’ — ‘тут’.

Спостереження за двосемними прислівниковими ЕС з характеристиками часу свідчать про те, що серед досліджуваних елементів, по суті, не фіксується таких, що явно б екстраполювали у майбутній час. Хоча, як переконливо доводить Н. Д. Арутюнова, з прийняттям християнства людина змінила свій рух, тобто від спостережень за минулим її погляди попрямували до мети, власне, у майбутнє. Вчена відзначає: “Подорожанин йде тепер уперед у графічному (просторовому) уявленні зліва направо, з минулого у майбутнє” [2:693]. Мова, звичайно, відбиває такі уявлення людини про оточуючий світ, що виявляється у формуванні нових елементів, у тому числі з характеристиками минулого та майбутнього часу. Тобто очевидно стає поява елементів з семантикою майбутнього часу. Однак досліджувані нами одиниці розподіляються по-іншому.

Певна кількість двосемних прислівникових ЕС є відбиттям уявлень людини про час циклічний, тобто такий, що свідчить про послідовність однотипових подій, такі елементи будемо кваліфікувати як абітуалісні. Так, чотири ЕС, крім спільності семи, пов’язаної з граматичною їхньою природою (всі чотири є аналогами прислівників), мають спільну сему ‘підкріплює повторюваність дійства’: *по временах, время от времени, всякий раз, по ночам*. У чистому вигляді ця сема міститься тільки у формі *по временах*: *По временах он как будто приходил в себя, но всё ещё меня не узнавал* (Шевченко). На фоні повторюваності дії може виникати уявлення про її короткочасність та нерегулярність — *время от времени*, або, навпаки, — про те, що дія повторюється завжди — *всякий раз*. Пор.: *Время от времени он надменно взглядывал на скованного Кирджали* (Пушкин); *Маруся всякий раз всплескивала ручонками, и глаза её загорались огоньками восторга* (Короленко). ЕС *по ночам* також має сему ‘підкріплює повторюваність дійства’, але відрізняється від попередніх тим, що свідчить про абітуалісну семантику, обмежену певним проміжком доби, власне, ніччю. Уявлення про циклічність часу міститься і в семі ‘наиболее часто’, що входить до внутрішньої структури ЕС *чаще всего*. У цьому випадку на фоні узагальнення часу дії виникає відтінок (квант) її повторюваності. Пор.: *Она чаще всего являлась со старым портфелем, у которого оторвался один железный уголок* (Астафьев).

На фоні узагальнення часу дії може проявлятися семантичний квант прямування дії, як це спостерігається в семі ‘после всего’ ЕС *в итоге*: *А в итоге я расстроил себе нервы и дал себе слово больше на Сахалин не ездить* (Чехов). Отже, сема ‘после всего’, з одного боку, містить у собі квант, що пов’язується з уявленням циклічності часу, а з іншого — лінійності. Останнє дає можливість відносити зазначену одиницю деякою мірою і до дуративного класу слів. Елементи такого типу підтверджують думку про те, що “концепти відкриття”, “унікальної дії”, уявлення про “лінійний розвиток”, про “неповторно нове”,.. не відміняють циклічних, календарних уявлень, а ніби надбудовуються над ними” [10:13]. Подібні висновки стосуються й елементів *на миг* та *на мгновение*, що містять сему ‘підкріплює краткість дійства’. З одного боку, зазначені одиниці вказують на короткочасність дії, тобто на лінійність часу, а з іншого, — “глобальність масштабу у *мгновенный* і *мигов* визначається відсутністю в їхній семантиці асоціацій з будь-якими конкретними мірами тривалості: *мгновения* і *миги* у свідомості людини пов’язуються з нескінченністю вічності” [11:135]. Пор. вживання цих елементів у таких реченнях: *Она на миг остановилась и в дом вошла* (Пушкин); *Сверкнула молния и на мгновение осветила крыши домов и горы* (Чехов).

Семантика дуративності виявляється в сімох досліджуваних семах. Це елементи, що не ма-

ють маркерів, які б вказували на їхнє співвідношення з моментом мовлення, та одиниця, що свідчить про перебіг дії чи існування факту в минулому. До останніх належать ЕС дейктичного плану *в ту пору* та *в то время* зі спільною семою 'в тот или иной момент в прошлом'. Але якщо дія або факт існування, яку характеризує одиниця *в ту пору*, не підлягають квантифікації, то ЕС *в то время*, навпаки, свідчить про такі явища, що здатні вимірюватися певними засобами. Пор. вживання ЕС *в то время* та *в ту пору* в таких реченнях: *Это было в прошлом году, в то время мы были на даче. Он в ту пору работал старшим кочегаром на пароходе* (Гроссман). ЕС *до сего дня* також одиниця з семантикою дейктичного плану. Отже, сема, що входить до внутрішньої структури цієї одиниці, 'до настоящего времени' характеризує тривалий час з незакінченим часовим інтервалом. Такі самі показники має й сема 'по прошествии ряда лет' ЕС *со временем*. Однак, якщо на фоні семи 'до настоящего времени' виникає квант передування, то на фоні семи 'по прошествии ряда лет' — імпліцитно виражається семантичний квант наступності, як й у семі 'после полуночи' ЕС *за полночь*. Остання характеризується ще одним показником — числовим квантом, тобто таким, що пов'язується з певними годинами доби (після 0.0 годин).

На фоні елементів, що характеризуються часовою семантикою, можуть виникати уявлення про спосіб сприйняття оточуючої дійсності, за якими приховується образ спостерігача. Такою, наприклад, є сема 'впервые' ЕС *первый раз*. Пор.: *Мы с ним виделись всего два раза. Первый раз в Орской крепости* (Шевченко).

Сема 'от самого рождения' з показниками тривалого часу, що входить до внутрішньої структури ЕС *от роду*, також ускладнена, але у цьому випадку — квантом існування: *От роду ему было в то время лет сорок, и всю жизнь свою, чуть не с шестнадцати лет, он пробыл в гусарах* (Достоевский).

Як відомо, між прислівниками з часовими та просторовими значеннями існує тісний взаємозв'язок та постійна взаємодія [4:311]. Це виявляється і при спостереженні за неоднослівними одиницями, які переживають трансформаційні процеси, у нашому випадку підлягають явищам адвербіалізації. Прикладом цьому може служити ЕС *до востребования*, до внутрішньої структури якого входить сема 'для выдачи по требованию адресата', що має показники просторової локалізації факта, які, очевидно, походять від одиниці темпоральної семантики. Пор.: *Г(осподину) Льву Сергеевичу Пушкину в Чугуев (в Харьк. губ.). Оставить до востребования* (Пушкін); *Уезжая, я не знал ещё своего нового адреса, и мы договорились, что Нина Георгиевна будет писать на главный почтамт, до востребования* (Алексин). Адвербіалізувалася однак зазначена одиниця як елемент, що характеризує семантику простору. Всього таких ЕС у досліджуваному матеріалі виявлено вісім. Як відомо, в системі мови просторове положення відбивається одиницями локативного та дейктичного характеру. Так, до внутрішньої структури ЕС *на месте* входить сема 'там, где происходит что-либо', що характеризує положення у необмеженому просторі й ускладнена семантичним квантом існування: *Вина их не терпят вывоза, и скоро портятся, но на месте они прекрасны* (Пушкін). Подібні висновки стосуються і семи 'там, где кто-то является гостем', що є складником внутрішньої структури ЕС *в гостях*, але у цьому випадку на фоні семи з просторовими показниками висвічується квант існування, обмежений певними умовами перебування: *Мне всё ещё кажется, что я в гостях, и на этом основании ничего не делаю* (Шевченко).

Від семи 'дома', що входить до складу внутрішньої структури ЕС *на дому*, з показниками локалізації перебування у просторі, сема 'домой', яка міститься в ЕС *на дом*, відрізняється квантом, який характеризує спрямованість. Пор.: *Ночью он пришёл к себе на дом и отужинал со своей семьёю* (Пушкін); *Никитину часто приходилось работать на дому у заказчиков* (Паустовский).

Аналіз семантики одиниць з просторовим значенням свідчить, що вони досить часто містять кванти, які викликають уявлення про присутність спостерігача. Це певною мірою збігається з думкою Ю. Д. Апресяна, який, аналізуючи дейктичну просторово-часову семантику, відзначав, що простір та час релятивізовано поглядом на світ того, хто говорить [1:639]. Це доводить аналіз ще трьох утворень з семами, які характеризують локалізацію об'єкта у просторі, набуваючи максимальної конкретної семантики, пов'язаної з представленням людини як живої істоти. До таких одиниць належать семи 'под внутренней частью плечевого сгиба' ЕС *под мышкой (мышками)*, 'держат между грудью и прилегающей к ней одеждой' ЕС *за пазухой*, 'положить между грудью и прилегающей к ней одеждой' ЕС *за пазуху*. Перші дві відрізняються між собою тим, що свідчать про локалізацію об'єкта в різних частинах тіла людини: Пор.: *Отправлялись мы к Шмидтам с книгами под мышкой* (Шевченко); *Как стекло булат его блестит, Мешок за пазухой звенит* (Пушкін). Спільним для цих одиниць виявляється квант просторового існування. Сема 'положить между грудью и прилегающей к ней одеждой' ЕС *за пазуху* пов'язана з попередніми двома характеристиками локалізації об'єкта в певних частинах тіла людини. З семою ЕС *за пазухой* її об'єднують

ше й спільні показники частин тіла людини 'между грудью и прилегающей к ней одеждой'. Але замість кванта існування, який спостерігається у двох попередніх семах, в останній 'положить между грудью и прилегающей к ней одеждой' на передній план висувається квант спрямування: *Он важно взял его (письмецо), осмотрел со всех сторон и суул за пазуху* (Короленко).

Факти, що співвідносяться з просторово-часовою координатою, можуть квантифікуватися числовими та нечисловими засобами. Серед досліджуваних елементів виявлено тільки нечислові одиниці. Назвемо їх інтенсифікаторами, оскільки всі вони пов'язані з семантикою "більший / менший або ліпший / гірший ступінь ознаки". В системі російської мови існує універсальна одиниця, що виявляє можливості застосовуватися до будь-якої ситуації — елатив "очень". У співвідношенні з цим елементом інші інтенсифікатори є такими, що "обмежені умовою досвідного знайомства з предметом мовлення" [11:292]. Матеріал свідчить, що інтенсифікування може відбуватися у двох напрямках: *больше / меньше* або *ліпше / гірше*. З характеристиками інтенсифікації у напрямку *больше / меньше* функціонує сема 'в бесчисленном множестве' ЕС *без числа*, тобто така, що є показником суперлативного (максимальна інтенсивність) значення: *Должно быть, за подвиги славы мы ждали. У нас же дорога большая была; Рабочего звания люди снова! По ней без числа* (Некрасов). Атеунативне (більше, ніж нейтральне) значення відбиває сема 'подчеркивает значительность количества' ЕС *больше чем*: *Он прожил здесь больше чем полвека*.

Сема 'усиливает значение наречия или прилагательного', що входить до внутрішньої структури ЕС *как можно*, містить показники інтенсифікації і в напрямку *больше / меньше* і в напрямку *ліпше / гірше*. Пор. вживання ЕС у таких реченнях: *Я жил в тумане отупляющей тоски и, чтобы побороть её, старался как можно больше работать* (Горький). *Он хотел выполнить задание как можно лучше*. З цією семою значенням інтенсифікації в напрямку *ліпше / гірше* пов'язана інша — 'очень плохо', що входить до внутрішньої структури ЕС *хуже всего*, а з семою *без числа* її пов'язує суперлативне значення.

Всі виявлені інтенсифікатори мають спільний семантичний квант імпліцитно присутнього спостерігача, про що свідчить в їх семантиці порівняння того, що описується, з тим, що вже було відоме. Прихованість в семантиці вказівки на особисту причетність спостерігача до предмету мовлення ще яскравіше виявляється в одиницях якісно-оцінного плану. Це переважною більшістю прислівникові елементи з семами, які характеризують внутрішній стан людини, її сенсорні особливості, рухові дії та положення. Їхні оцінні характеристики чітко простежуються при зіставленні з нейтральною щодо цього семою 'как', яка входить до внутрішньої структури ЕС *каким образом*: *Бедный смотритель не понимал, каким образом мог он сам позволить своей Дуне ехать вместе с гусаром* (Пушкін). Внутрішній стан людини можуть характеризувати семи з гіпокористичною (позитивною) оцінкою, до яких належать 'проявляя вежливость' ЕС *из вежливости* та 'испытывая чувство гордости' ЕС *с гордостью*: *Старый Берестов внутренне жалея о потерянном труде и времени на столь бесполезные прихоти, но молчал из вежливости* (Пушкін). — *Кто тебя избил?* — *спрашивает Ромась, усмехаясь.* — *Так, какие-то тёмных должностей люди, наверно — жулики, — презрительно говорит Кукушкин.* И — *с гордостью:* — *Нет, меня, одна, артиллеристы били, это — действительно* (Горький).

Семи 'проявляя нетерпение' ЕС *с нетерпением* та 'испытывая досаду' ЕС *с досадой* швидше свідчать про пейоративну (негативну) оцінку стану людини. Особливо яскраво це окреслюється в останній. Пор.: *Я с нетерпением торопил дни и часы увидет её*. Бондарев. — *Заносчив ты, Клещов!* — *с досадой восклицает трактирщик* (Горький).

Сенсорні особливості людини характеризує сема 'только слушаю', що входить до складу внутрішньої структури ЕС *на слух*. Від попередніх двох вона відрізняється нейтральністю оцінки: *Он на слух угадывал, как работает машина*. У семі 'только что проснувшись' ЕС *со сна* характеристика стану людини, до речі, і стану тварини, виявляється кумулятивно з її тимчасовістю: *Иногда кто-нибудь поднимет со сна голову, посмотрит бессмысленно, с удивлением на обе стороны и перевернётся на другой бок* (Гончаров). *Залаяла со сна собака соседей*. Негативний стан людини, пов'язаний з її хворобою, відбиває сема 'в бесчувственном состоянии' ЕС *без сознания*: *Протопоп не замечал, сколько времени прошло с тех пор, как его оглушило, и долго ли он был без сознания* (Лесков).

Двосемних елементів з характеристиками рухових дій та положень людини фіксується у досліджуваному матеріалі декілька. Спрямування дії з метою надати положення тіла у просторі характеризують семи 'присесть, согнув ноги в коленях и держась на носках' ЕС *на корточках*, 'присесть одновременно на обе руки и ноги' ЕС *на четвереньки* та 'встать, опираясь на пальцы ног' ЕС *на цыпочки*. Цим одиницям протистоять інші, що характеризують такі самі положення тіла людини, але замість семантичного спрямування руху в напрямку до цих положень висувається квант

існування. Це семи 'сидеть, согнув ноги в коленях и держась на носках' ЕС *на корточках*, 'опираясь на обе руки (ладошки) и обе ноги' ЕС *на четвереньках* та 'на пальцах ног' ЕС *на цыпочках*. Пор.: *Вот Мишенька, не говоря ни слова, Увесистый бульжник в лапы сгрёб, Присел на корточки, не переводит духу* (Крылов); [*Наташа*] *сидела на корточках и, сунув клювик утёнка в рот, пошла его* (С.Антонов). До цього варто додати, що зазначені одиниці можуть характеризувати і рухові дії або положення тіла тварин у просторі. Щоправда, у мовленні подібне використання цих елементів є рідкісним: *Сидя на корточках, он [пёс] свесил морду* (Тургенев).

Сема 'придерживая согнутую в локте руку спутника' ЕС *под ручку* здатна характеризувати положення або рухові дії тільки людини, точніше, одночасно двох осіб: — *Но только что я занял своё место подле Аглаи Ивановны. смотрю, является Гаврила Ардалионович и Варвара Ардалионовна, оба под ручку, точно гуляют* (Достоевский).

Про наявність двох співучасників свідчить ще одна сема з характеристиками способу дії 'держа лошадь за уздцы около удил' ЕС *под уздцы*. Тільки у цьому випадку співучасники людина та кінь: *Андрей был изображён в полной боевой выкладке на лесной дороге, державшим под уздцы коня* (Семенихин). Використання зазначеної одиниці у мовленні передбачає обов'язкову наявність суб'єкта та знаряддя дії, де суб'єктом виступає той, хто тримає, а знаряддям — вудила. Квант існування суб'єкта та об'єкта дії виявляється і при спостереженні за семою, що характеризує рухові дії людини, — 'придав ружью положение, нужное для выстрела' ЕС *на изготовку*: [*Кузнецов*] *поднял ружьё на изготовку и задом отходил к своим документам* (Погосский). Об'єкт дії у цьому випадку набуває значного ступеня конкретизації, ним може бути тільки рушниця. Певний ступінь конкретизації об'єкта виявляється при розгляді семи 'висячем положении' ЕС *на весу*. Таким об'єктом може бути тільки предмет, здатний утримуватися у повітрі: [*Фельдшер*] *развернул карту и держит её на весу перед глазами полковника* (Симонов).

Сема з характеристиками способу здійснення дії 'имея возможность выбрать' ЕС *по выбору* також передбачає наявність суб'єкта та об'єкта дії. Суб'єктом тут обов'язково виявляється особа, а об'єкт не має будь-яких рамок обмеження. Хоча ці рамки нерідко бувають обмежені контекстом. Пор.: — *Ему предлагали работу по выбору — в школе или библиотеке*.

Суб'єкт дії, яким виявляється особа, тобто людина, передбачає ще дві семи з маркерами способу дії — 'наливая частями во что-либо' ЕС *в разлив* та 'так, что можно обхватить' ЕС *в обхват*. У першому випадку сема характеризує дію, що стосується речовинних об'єктів, в іншому — перелічуваних: *В чайных у дороги торговали водкой в разлив и пивом* (Горышин). *Он увидел вверху, внизу, над собой трёхсотлетние дубы, трём человекам в обхват* (Гоголь).

Отже, спостереження за внутрішньою структурою двосемних, найпростіших прислівникових ЕС, тобто одиниць, які перебувають на стадії свого формування і виступають як елементи між'ярусного рівня в системі мови, свідчать про те, що їхня семантика розвивається навколо просторово-часової координати людського буття. Виявляється, що антропоцентричність мови, тобто таких уявлень про людину, коли вона виступає як природна точка відліку, лежить вже в основі елементів, які ще не набули свого певного статусу в системі мови. Якщо ж конкретизувати загальну семантику досліджуваних одиниць, то стає зрозумілим, що вона формується не просто в рамках просторово-часової координати, а в таких її межах, що переважною більшістю перебувають у полі зору спостерігача або впливають з його власного досвіду.

1. Апресян Ю. Д. Интегральное описание языка и системная лексикография // Избр. тр. — М., 1995. — Т. 2.
2. Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. — М., 1999.
3. Булыгина Т. В., Шмелёв А. Д. Языковая концептуация мира (на материале русской грамматики). — М., 1997.
4. Виноградов В. В. Русский язык (Грамматическое учение о слове): Учебн. пособие для вузов / Отв. ред. Г. А. Золотова. — 3-е изд., испр. — М., 1986.
5. Лайонз Дж. Введение в теоретическую лингвистику. — М., 1978.
6. Мельчук И. А. Русский язык в модели "Смысл-Текст". — М. — Вена, 1995.
7. Мельчук И. А. Курс общей морфологии: В 2-х т. — Москва-Вена, 1998. — Т. 2.
8. Рассел Б. Человеческое познание: Его сфера и границы. — К., 1997.
9. Рогожникова Р. П. Словарь эквивалентов слова. — М., 1991.
10. Степанов Ю. С., Проскурин С. Г. Концепт "действие" в контексте мировой культуры // Логический анализ языка. Модели действия. — М., 1992.
11. Яковлева Е. С. Фрагменты русской языковой картины мира (модели пространства, времени и восприятия). — М., 1994.

Коннотативность семантики фразеологизмов, указывающих на интеллектуальные качества человека (на материале русского и болгарского языков)

Измерение семантической сложности фразеологических единиц (ФЕ) представляет собой малоисследованную проблему, в связи с чем возникают трудности при сопоставлении фразеологий различных языков. Известно, что фразеологизмы каждого из сопоставляемых языков характеризуются неодинаковой сложностью семантики. При этом лишь часть их соответствует отдельным лексемам, большинство же ФЕ могут быть определены лишь с помощью развернутого описания.

Каждая ФЕ характеризуется специфическим набором смысловых единиц, то есть минимальных смысловых компонентов — сем, интегральных и дифференциальных. Если интегральные семы являются наиболее общими и служат основанием для объединения ФЕ в определенные фразео-семантические группы и подгруппы, то дифференциальные семы являются дополнительными семантическими признаками и отражают специфические свойства и характеристики обозначаемого явления.

Лингвисты характеризуют фразеологическое значение как феномен исключительной сложности, подчеркивая, что его ни в коей мере нельзя рассматривать как механическую сумму составляющих его компонентов. «Семантическую структуру фразеологизма можно представить как микросистему, все элементы которой находятся в тесной связи и взаимозависимости между собой» [4:110]. Семантическое своеобразие ФЕ проявляется в специфике сочетания сем, так как семы выступают не только как конstituенты основных составляющих ФЕ, но и как связующие звенья между ними.

Выделение сем, определяющих коннотативное значение фразеологизмов, является, несомненно, очень важным, поскольку образование ФЕ в системе языка связано в первую очередь с тем, что они выполняют экспрессивную функцию, наряду с номинативной и коммуникативной.

Специфика фразеологического значения состоит в том, что коннотативный компонент значения у ФЕ является ведущим, что связано с природой образования и функциональной значимостью ФЕ. Недаром, по свидетельству наших виднейших фразеографов А. И. Молоткова, А. И. Федорова, А. В. Кунина, самым сложным во фразеологическом словаре является адекватная передача коннотативного компонента фразеологического значения.

Для ФЕ, семантически ориентированных на интеллектуальные качества человека, коннотация приобретает особую значимость в силу специфики самого объекта исследования, так как обычно то, что характеризует человека — его характер, поведение, внешний облик, действия, отношение к людям и т.д. — представляет собой в вербальном аспекте оценочные категории, вызывает к себе эмоционально-оценочное отношение.

Традиционно в коннотативном значении выделяются следующие элементы: оценочный, эмоциональный, экспрессивный и функционально-стилистический. Эти четыре элемента коннотации во фразеологическом значении выступают, как правило, вместе, но могут находиться и в разнообразных комбинациях друг с другом.

Задачей нашего исследования является изучение коннотативного компонента значения ФЕ, ориентированных на интеллектуальные качества человека. Исследование проводится как сопоставительное на материале русского и болгарского языков, фразеологизмы которых извлекались из фразеологических словарей этих языков (список словарей приводится в библиографии). Наш корпус ФЕ, ориентированных на интеллектуальные качества человека, составляют 584 русских и 472 болгарских фразеологизма. При выявлении коннотативного значения нами, во-первых, учитывались и анализировались:

- словарные фразеологические дефиниции;
- глоссы, то есть части словарной статьи, содержащие дополнительную информацию (пометы, этимологические справки, объяснение реалий, сведения о сочетаемости).

Во-вторых, выделялись и исследовались классификаторы коннотативной семантики ФЕ (лексические, морфологические, структурно-синтаксические).

Оценочный элемент коннотативного значения, то есть одобрительная или неодобрительная оценка, заключенная в значении ФЕ, является обязательным для всех ФЕ в силу его социолингвистической природы. Хотя члены общества расценивают одно и то же явление индивидуально, существует общепринятая точка зрения, в связи с которой положительная или отрицательная оценка входит в структуру значения ФЕ [5:60].

Нами выделяются отрицательный, положительный и нейтральный типы оценки, в основе которых лежат осуждение, одобрение или отсутствие ярко выраженного одобрения или осуждения какого-либо явления в устойчивом обороте.

Необходимо отметить, что рассматриваемая группа ФЕ, обозначающих умственные способности человека, демонстрирует важную черту фразеологической семантики: общую семантическую асимметрию в сторону отрицательно-оценочных значений. В собранном нами корпусе отрицательным типом оценки характеризуются 371 ФЕ русского и 302 ФЕ болгарского языка. Такое преобладание ФЕ с отрицательно-оценочным значением может быть объяснено более острой и дифференцированной эмоциональной и речемыслительной реакцией людей именно на отрицательные явления. Поэтому даже оттенки черт характера, умственных способностей человека или его поведения получают особые фразеологические наименования.

Отрицательная оценка может быть выражена эксплицитно, и в первую очередь с помощью лексических средств, то есть компонентов фразеологизма, несущих отрицательную семантику. Это могут быть:

— имена существительные в их примарном и секундарном значении (дурак, олух, осел, пень, пробка; дърво, дъб, пън и др.), например: *отпетый дурак, олух царя небесного, разыгрывать дурака, глуп как осел, пень березовый, глуп как пробка; глупав като дърво, мълча като дъб, гледам като пън, голям дявол, жив дявол* и т.п.;

— имена прилагательные (дырявая, пустая, медный; куха, празна, дебела и др.), например: *дубовая голова [башка], пустая голова [башка], медный лоб, голова еловая, дырявая память; дъбова глава, дървена глава, куха катуна, къса памет* и т.п.;

— глаголы, например: *хромать на обе ноги, в трех соснах заблудится, потерять память; хлопа му дъската* и т.п.;

— наречия, например: *мозги набекрень, голова кругом, мелко плавать* и т.п.;

— отрицательные частицы НЕ и НИ, например: *винтиков [клепок] не хватает [недостает] <в голове>, пороку не выдумает, звезд с неба не хватает, не все дома, не видит дальше своего [собственного] носа, ни бе ни ме <ни кукареку>, ни в зуб <ногой> <толкнуть>, ума ни на грош, ни бум-бум; не може да преброи до четири, не зная гък, не е добре с главата, нямам ум в главата си, ни [нито] бъкел* и т.п.

К последней группе близки ФЕ с предлогом БЕЗ, также характеризующие отсутствие чего-то важного, ср. *без памяти, без головы, без царя в голове* и т.п.

Хотя лексическим средствам принадлежит ведущая роль в выражении негативной оценки фразеологизма, они очень редко выступают изолированно и обычно сопровождаются структурно-синтаксическими средствами, такими как:

— конструкций со сравнительными оборотами, которые могут быть скрытыми (бессоюзными) и открытыми (союзными), например: *куриные мозги, колорадский жук, книжный червь, старый лис, как [будто, словно, точно] баран на новые ворота, глуп как сивый мерин, глуп как пробка, как [будто, словно, точно] из-за угла мешком прибитый [ударенный, трахнутый]; кокоши ум, букова глава, глупав като гъска, пън като тапир, гледам като теле в железница, прост [глупав] като фасул, разбира като свиня от кладенчова вода* и т.п.;

— тавтологические конструкции, например: *дуб дубом, дурак дураком, пень пнем; идиот с идиот* и т.п.;

— эвфемистические конструкции, например: *немножко того; малко е така, малко е трала-ла, липсва му нещо;*

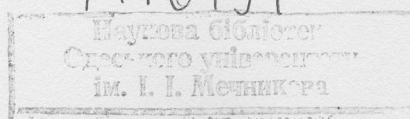
— эллиптические конструкции, например: *совсем спятил, окончательно рехнулся;*

— эвфонические конструкции, например: *хитрый митрий, кока с соком, ни в городе Богдан ни в селе Селифан, серединка на половинку;*

— императивные конструкции, например: *хоть кол на голове теши.*

Нередко отрицательная оценка может быть выражена имплицитно, то есть общим фразеологическим значением, например: *голова и два уха, девичья память, женский [бабий] ум, бро-*

1416791



дить в потемках [в тумане]; женски ум [акъл], живеея от днес за утре, стара влъхва, от голям ум и т.п.

Интересно отметить, что в корпусе болгарских ФЕ отрицательная оценка частотнее, чем в русских, выражается не только с помощью сравнительных оборотов, но и с использованием зоонимов и бытовой лексики, что можно, очевидно, объяснить более сильным влиянием диалектов на систему ФЕ книжного болгарского языка.

Среди рассматриваемого нами корпуса фразеологизмов 164 ФЕ русского и 132 ФЕ болгарского языка отражают положительную оценку интеллектуальных качеств человека. Эксплицитно это выражается прежде всего с помощью лексических средств, то есть компонентов ФЕ, несущих положительную семантику, например: *светлая голова, ясная голова, видеть на три аришина в землю, ловить на лету [с лету], здравый смысл; умна глава, учена глава, зная си работата, вещь птица* и т.п.

Кроме того, ФЕ, выражающие положительную оценку, могут указывать на то, что человек обладает тем, что у него должно быть. Выражаться это может при помощи:

— глагола **иметь**, например: *иметь голову на плечах, иметь нюх; имам акъл в главата, имам глава, имам око, имам мозък в главата* и т.п.;

— глагола-связки **быть** в значении “существовать, иметься”, которая в русских фразеологизмах опускается, например: *голова на месте, <своя> голова на плечах; умът ми е в главата, умът ми е на място* и т.п.;

— предлога **с** (устар. **о**) в значении “наличие, присутствие чего-либо, обладание чем-либо”, например: *с царем в голове, с головой, с мозгом, с понятием, о своей голове*.

Некоторые ФЕ выражают положительную оценку при помощи НЕ-характеристик. Отрицание при этом относится к компонентам ФЕ, несущим негативную семантику, например: *ума не занимать <стать>, не промах, не будь дурак, за словом в карман не лезет; на заем уста [думи] не вземам* и т.п.

Дополнительными средствами выражения оценки являются при этом такие структурно-синтаксические средства, как:

— сравнительные конструкции, союзные и бессоюзные, например: *на голову выше, головой выше, живая летопись, ходячая библиография, как [будто, словно, точно] в воду глядеть [смотреть], знать как свои пять пальцев; стоя с една [с цяла] глава по-високо, умът му бръсне [реже] като бръснач, сече ми умът като брадва, чете като на длан, като че на ноктите си гледа* и т.п.;

— эвфемистические конструкции, например: *не на того (ту) напал, не на таковского [такого] напал*;

— императивные конструкции: *позици дураков <подешевле>, не будь дурак, не будь плох*;

— эвфонические конструкции: *сами с усами (сам с усам)*.

Особую группу составляют ФЕ с нейтральной оценкой, в которых отсутствует ярко выраженное осуждение или одобрение. Большинство таких ФЕ нашего корпуса можно отнести к фразео-семантической подгруппе «умственная деятельность», например: *раскидывать умом [мозгами], прикидывать [взвешивать] в уме, собираться с мыслями, ломать голову, взвешивать все за и против, рыться в <своей> памяти; премията през главата си, предавам се на мислите си, кроя в ума си, напрягам ума си, вдавам се [потъвам] в мисли* и т.п.

В пределах семантики ФЕ с оценочным элементом коннотации тесно связан эмоциональный элемент, под которым мы понимаем выражение во фразеологическом значении чувств и эмоций. Такая тесная взаимосвязь объясняется тем, что оценка человеком какого-то явления влечет за собой эмоциональное отношение, переживание. Но ведущим при этом остается оценочный элемент коннотации.

Сравнивая большое количество ФЕ между собой, мы можем наблюдать целую гамму разнообразных оттенков проявления чувств и эмоций, например:

— пренебрежение (*голова мякиной набита, дурная голова; куха глава*);

— резкое осуждение (*дубина стоеросовая, дурья башка, бревно нетесанное; дебела глава, глупав като тапа*);

— презрение (*мозги набекрень, курья голова, ни бе ни ме <ни кукареку>; лек си в главата, прост като крапуна*);

— ирония, насмешка (*витать в облаках, кока с соком, ученый муж; от голям ум, пред плет не съм видял [не съм чуя, не съм слушал]*);

— сочувствие, снисходительное отношение (*голова садовая; лукова глава, акъл на буци [за круши]*);

— шутовское отношение (*бездна [кладезь] премудрости, с приветом; акъл-море*) и т.д.

В ряде случаев на эмоциональный элемент значения указывают словарные стилистические пометы, типа *бран.*, *вульг.*, *груб.*, *пренебр.*, *презр.*, *уничижит.*, *неодобр.*, *ирон.*, *шутл.*, *ласк.*, *восторг.*, *одобр.* и т.п. Однако разные фразеологические источники неодинаково маркируют одну и ту же ФЕ, кроме того пометы могут вообще отсутствовать. Тогда опорой для выделения эмоционального элемента служат иллюстративные примеры, в которых ФЕ представлены в контексте.

Переходя к рассмотрению экспрессивного элемента значения фразеологизма, необходимо подчеркнуть, что экспрессия как образность, метафоричность является неотъемлемой характеристикой любой ФЕ. Понятие же экспрессивности как элемента коннотации употребляется для характеристики тех ФЕ, содержание которых указывает на интенсивность, то есть очень сильную (высшую) степень проявления некоторого признака, действия, качества [2:4].

Экспрессивный элемент расшифровывается в словарных дефинициях с помощью интенсификаторов, то есть лексических единиц, выражающих большую по сравнению с нормой степень признака. В качестве интенсификаторов, как правило, выступают наречия (особенно наречия степени), прилагательные, существительные или глаголы, которые имеют в своей семантике усилительный элемент, например: *видеть на три [на два] ариина под землю* — «отличаться большой проницаемостью»; *ни в зуб <ногой> толкнуть* — «совершенно ничего (не знать, не понимать, не смыслить и т.п.)»; *олух царя небесного* — «очень глупый человек; тупица, дурак, болван»; *дырявая голова* — «человек с очень плохой памятью, рассеянный, забывчивый»; *ломать голову* — «усиленно думать, стараясь понять, разрешить что-либо трудное»; *акълт му е в краката* — «очень глупый, тупой человек»; *глупав като тапа* — «очень, до крайности глуп»; *умна глава* — «очень умный, ясно, логично мыслящий человек» и т.п.

Интенсификатор значения может выражаться и имплицитно. В ряде случаев для выявления экспрессивного элемента можно прибегнуть к рассмотрению семантических оппозиций, в которых одна из ФЕ содержит более сильно выраженный признак, чем другая, например: *схватывать верхушки (верхи)* — *схватывать верхи верхушек*, экспрес.

Экспрессивный элемент является в семантике ФЕ факультативным. В рассматриваемом корпусе экспрессивно окрашенными являются 195 ФЕ русского и 173 ФЕ болгарского языка.

Четвертый элемент коннотации — функционально-стилистический — свидетельствует о принадлежности ФЕ к тому или иному стилю речи, его распространенности и употребительности. Большинство исследователей выделяют три класса ФЕ в зависимости от преимущественной сферы их употребления: книжные, разговорные и нейтральные.

К книжным относят ФЕ, преимущественно или исключительно употребляемые в письменной речи, то есть в поэтической, публицистической, научной, официально-деловой сферах общения. В их состав, как правило, входят: книжные слова (*бездна премудрости, класть на чаши весов; умствен багаж* и т.п.); лексические, грамматические, фонетические архаизмы (*предавать забвению, здравый смысл, кладезь премудрости, семи пядей во лбу, витать в облаках* и т.п.); древние имена и их производные (*валаамова ослица, панургово стадо; валаамовската ослица*) и т.п. Немалую роль при этом играет происхождение ФЕ, например, библейское или церковнославянское. Такие ФЕ немногочисленны, в рассматриваемом нами корпусе их 53 в русском и 38 в болгарском языке.

К разговорным в лексикографии относятся ФЕ, преимущественно или исключительно употребляемые в устной речи. Они имеют словарные пометы *разг.*, *прост.*, *груб.*, *грубо-прост.*, *бран.*, *жарг.* и т.п. В составе таких ФЕ преобладает разговорная и просторечная лексика, например: *дурья голова [башка], ни бельмеса, продувная бестия, вколотить в голову, набитый дурак; на мозък съм раснал, сече ми главата* и т.п. К разговорным относятся большинство ФЕ с бытовой лексикой (*на мякине не проведешь, солома в голове; глупав като запушалка, празна кратуна*); с использованием названий растений и животных в их примарном и секундарном значениях (*белены объелся, гусь лапчатый, стреляный воробей; гледа като вол, има кокоши ум*); с бранными словами (*черт, дьявол*). Это наиболее многочисленная группа ФЕ. Она насчитывает 365 ФЕ русского и 329 ФЕ болгарского языка.

Нейтральными или межстилевыми считаются ФЕ, употребляемые во всех стилях. В их состав входит преимущественно нейтральная лексика.

Отражение в словарных статьях находят также функциональность и частотность ФЕ. Так,

например, ФЕ *дураково поле, входить в меру, ни ума ни закliku, жить в лесу, молиться колесу* и др. имеют во фразеологическом словаре под редакцией А.И. Федорова помету обл., что говорит об ограниченной их распространенности. Некоторые ФЕ в словарях имеют помету устар., что свидетельствует об уменьшении их употребительности, например: *богом обиженный, брать <себе> на ум, спятиться с ума, помутиться умом (в разуме)* и т.п.

Несмотря на то, что функционально-стилистический элемент наиболее явно выделяется в коннотации, он подвержен изменению: ряд ФЕ из разговорных переходят в нейтральные благодаря своему широкому распространению, другие устаревают или вообще выходят из употребления. Все это обуславливает подвижность границ различных стилистических разрядов и затрудняет отнесение ФЕ к тому или иному стилю.

Подводя итог, отметим, что в сопоставительном аспекте в целом можно говорить о значительном сходстве семантики, и в частности коннотативного ее компонента, рассмотренных ФЕ русского и болгарского языков. В первую очередь это проявляется в выделении в исследуемых языках семантически тождественных ФЕ, в близости способов и средств выражения элементов коннотации. К чертам национальной специфики можно отнести определенные различия в наборе сем ФЕ близкой семантики, относящихся к одной фразео-семантической подгруппе, традицию большего диалектного влияния на фразеологию болгарского литературного языка, что, возможно, объясняется причинами более позднего и менее строгого нормирования системы устойчивых сочетаний в болгарской книжно-литературной речи.

1. Кунии А. В. Курс фразеологии современного английского языка: Учеб. для ин-тов и ф-ов иностр. яз. — М., 1986.
2. Лукьянова Н. А. О соотношении понятий экспрессивность, эмоциональность, оценочность // Актуальные проблемы лексикологии и словообразования. — Новосибирск, 1986. — Вып. 5.
3. Молотков А. И. Основы фразеологии русского языка. — Л., 1977.
4. Райхштейн А. Д. Сопоставительный анализ немецкой и русской фразеологии. — М., 1980.
5. Соколова Г. Г. Составляющие коннотативного значения фразеологических единиц // Лингвистические проблемы перевода. — М., 1981.
6. Солодуб Ю. П. Образность фразеологизмов и фразеологическая номинация: Особенности семантики фразеологизмов: Межвузовский сборник научных трудов. — Ростов н/Д., 1992.
7. Федоров А. И. Образная речь. — Новосибирск, 1985.
8. Жуков В. П., Сидоренко М. И., Шкляров В. Т. Словарь фразеологических синонимов русского языка: Около 730 синоним. рядов. — М., 1987.
9. Кошелев А. К., Леонидова М. А. Болгарско-русский фразеологический словарь: Около 9500 фраз. ед-ц. — М. — София, 1974.
10. Ничева К. и др. Фразеологичен речник на българския език, В 2 т. — София, 1975.
11. Русско-болгарский фразеологический словарь: 5695 словарных статей / К. Андрейчина, С. Влахов, С. Димитрова, К. Запрянова. — М. — София, 1980.
12. Фразеологический словарь русского литературного языка конца XVIII-XX вв.: Ок. 7000 сл. ст. — М., 1995.
13. Фразеологический словарь русского языка: Около 4000 словарных статей / Сост. Л. А. Войнова и др. — 4-е изд., стер. — М., 1986.

УДК 81'42

Т. В. Весна

Прагматическая синонимия и антонимия в политическом дискурсе

В зарубежной филологии давно утвердилась традиция изучения языка политической коммуникации. В отечественном языкознании было не принято исследовать лингвистические особенности официальных советских политических текстов, за исключением произведений классиков марксизма-ленинизма, прежде всего по идеологическим соображениям [3:37]. Поэтому лингвисты обращались к западным источникам, анализируя язык и стиль буржуазной пропаганды, а советский политический дискурс оставался «terra incognita» [5:132].

Однако в последнее время наметилась тенденция включения современной политической коммуникации в число объектов филологического исследования. Такой интерес к данной проблеме имеет экстралингвистическую и лингвистическую обусловленность.

Политический язык (политическая речь), участвующий в формировании и функционировании политики, представляет собой элемент общей политической культуры общества, которая включает «культурное наследие социума в сфере политических отношений, институтов и сознания, а также совокупность политических ценностей и норм» [7:409].

По способу передачи информации язык политики подразделяется на вербальный и символический (специальные знаки, эмблемы, ритуалы и др.). В функциональном плане разграничивают «ведомственный» язык (инструкции, распоряжения, переписка и др.) и более доступный общепотребительный язык публичной политической речи, который и рассматривается в данной статье.

Языковое оформление политического материала отличается от других видов письменных и устных текстов некоторыми характерными чертами, и для обозначения данной языковой подсистемы используются следующие термины: «политический стиль речи» [4:87], «функциональный стиль политики» [6:60], «язык политики» [6:60; 2:156; 8:5], «язык политической информации», «язык пропаганды и агитации» [10:83], «политический дискурс» [1:11].

Разнообразны и определения этого понятия. В научной литературе последних лет [1] язык политики рассматривается как: 1) один из видов аргументативного дискурса, 2) триединство вербального, невербального (паралингвистические средства) и экстралингвистического; 3) особая форма коммуникации, обеспечивающая возможность достижения общественного согласия; 4) сущность политическая, лингвистическая и культурная; 5) символика социальных отношений, одна из форм скрытого социального давления; 6) отражение мировоззрения и убеждения индивида; 7) широкое понятие, в котором выделяются частные подвиды: дипломатический, «президентский», личностный, авторитарный дискурс, дискурс избирательных кампаний и др.

В данной работе выражение «язык политики» используется для определения особенностей литературного языка в конкретной тематической, функциональной сфере: в социополитическом контексте.

Человек и общество живут в идеологическом пространстве, поэтому политическая деятельность глубоко идеологична по своей сути, а политический язык характеризуется ярко выраженной идеологической направленностью. Его концептуальную основу составляет закреплённая в общественном сознании ценностная «картина мира». Таким образом, политическая коммуникация представляет собой определённую систему применения языковых средств и особую модель коммуникативного процесса, очерченного идеологической рамкой, где пропагандируются взгляды, идеи, оценки, связанные с политическими интересами носителей языка. В идеологическом узусе происходит актуализация идеологического статуса коммуникантов, идеологически релевантной тематики и языковых средств экспликации идеологического содержания.

Отражая политическую деятельность общества, политическая речь становится национально-специфичной. Её предметной областью является конкретная социальная действительность и социальные отношения, поэтому в языке политики идеологический и этнокультурный факторы неразрывно связаны и взаимообусловлены. Они придают каждому национальному политическому дискурсу неповторимое своеобразие. Учитывая идеологическую заданность политической коммуникации, приоритет имеет идеологический компонент. Поэтому при межкультурном общении для достижения адекватного понимания и восприятия политической информации идеологические коннотации должны быть переданы в полном объёме. На данном этапе общественного развития идеологическая проблематика в лингвистике становится особенно актуальной. Текущая политическая жизнь представляет собой сложный процесс, связанный с глубокими и динамичными переменами, выражающимися в отказе от прежних идеологических установок и создании иной системы ценностей.

С изменением идеологической направленности общества советский политический язык, обозначенный французскими лингвистами и социологами термином *la langue de bois* (бюрократический язык) уходит в прошлое. Формируется новый в концептуальном и языковом плане политический дискурс. На этот процесс существенное влияние оказывает политическая структуризация современного общества. Радикальные перемены в социуме и сознании привели к конфронтации социальных ценностей и политическому противостоянию их носителей. На основе ценностного размежевания происходит идеологическая дифференциация общества, формируются различные по своим политическим интересам группы людей.

Существование нескольких часто оппозиционных доктрин воздействует на языковую сферу. Возникают идеологически обусловленные разновидности одного и того же национального языка, используемые конкретными социально-политическими структурами для усиления влияния своих идей. Каждое политическое направление создаёт отражающее его идеологию «языковое поле», куда входят ключевые политические термины, символы, специальная политическая лексика, слова-лозунги. С помощью «языкового поля» в употребление вводится набор политических суждений и идеологических установок. В отличие от советского официального языка политики современный политический дискурс характеризуется идеологической неоднородностью.

Принцип идеологической ориентированности политического общения воздействует на семантико-прагматическое моделирование смыслового содержания языковых единиц на всех уровнях: лексическом, синтаксическом, стилистическом, текстовом.

С точки зрения непосредственной связи с внеязыковой действительностью и отражения национально-культурной специфики наиболее показательным является лексический уровень.

Исследовать процессы влияния идеологии на лексико-семантическую систему языка удобнее всего в периоды крупных социальных перемен, так как в эти моменты они наиболее ощутимы и легко наблюдаемы. Для русского языка такой исторической вехой после Октябрьской революции 1917 г. является 1991 г., связанный с распадом Советского Союза и крушением моноидеологической системы.

Глубокие социальные сдвиги и политический плюрализм определили интенсивность идеологически обусловленных языковых процессов. Возрастание социальной активности слова убедительно подтверждает роль языка в формировании и изменении общественного мнения. Французский исследователь Е. Морен, подчёркивая важность подбора лексики в политическом дискурсе, замечает, что идеологические столкновения не сводятся только к словесным баталиям, но это — также сражения, которые разыгрываются с помощью слов [11:125].

Ядро политического словаря составляет собственно политическая лексика: термины, политические идиомы (жаргонизмы), точно определяющие специальные понятия и имеющие ярко выраженный эмоциональный компонент, а также лозунговые слова, которые обладают комплексным значением, формулируя социально-политический постулат, и являются ключом для понимания целой группы ассоциативных понятий. К потенциально-политической лексике принадлежат единицы общего словаря.

В политическом лексиконе выделяют идеологически нейтральные слова, которые одинаково воспринимаются в смысловом или эмоциональном плане представителями разных идеологий, и идеологически маркированные узуальные или окказиональные лексические единицы, смысловое и прагматическое восприятие которых зависит от идеологической позиции коммуникантов.

Когнитивное и оценочное значение идеологизированных слов связано и детерминировано состоянием общественного сознания. Их определяющим свойством является системность (сохранение своего значения в определённом языковом поле) и политическая оценочность. Появление идеологически релевантных слов связано с лексической неологизацией под влиянием экстралингвистических факторов и семантической неологизацией нейтральных лексических единиц.

Идеологизация слов может также быть результатом целенаправленной деятельности политических структур по контролю над семантикой и прагматикой лексических единиц, узусом их употребления, который осуществляется через средства массовой информации и лексикографические материалы.

Условием актуализации идеологизированной лексики является использование её в социально ориентированных контекстах, сферах речевого общения. При этом употребление лексической единицы в идеологически маркированном или идеологически нейтральном контексте обуславливает развитие идеологизированного значения в слове общего употребления, либо идеологическую нейтрализацию значения лексической единицы.

Обозначить границы идеологически релевантной лексики практически невозможно. В отличие от относительно стабильного ядра, которое составляет концептуальная лексика, её периферия — более динамична. Однако в моменты государственной перестройки трансформациям подвергается и ядро идеологизированной лексики, о чём свидетельствует анализ фактического материала.

Приобретение или утрата словом идеологически обусловленного значения, а также вторичная идеологизация выражают различные способы отражения идеологического фактора, который состоит в сознательном выборе языковых средств изложения, обладающих определённой коннотацией, заложенной эксплицитно или имплицитно в лексическом значении. В процессе идеологизации и деидеологизации прослеживается и взаимосвязь языка политики со словарём общенародного языка. Эта связь используется при нормировании литературного языка, особенно, когда нормирование осуществляется с опорой на свой политический словарь (например, советский политический дискурс «la langue de bois»).

В условиях идеологической дифференцированности национального языка особенно явно прослеживается полисемичность и полиэмоциональность идеологизированной лексики. В новой идеологии некоторая часть прежнего понятийного аппарата сохраняется и наполняется иным содержанием. Полиэмоциональность состоит в выражении противоположных политических оценок одной и той же лексической единицы носителями различных идеологий.

Идеологические системы, функционирующие внутри социума, используют неодинаковый набор ценностей. Но могут быть и некоторые общие ценности. Особенность языка политики заключается в том, что одна и та же ценностная категория привлекается политическими структурами для обоснования различных действий.

В словарях противоположной идеологической направленности существует явление семантической бинарности, когда политическому термину соответствуют определения, заданные разными дифференциальными семантическими признаками.

Полисемичность и полиэмоциональность идеологизированной лексики обуславливает появление в речи двойных синонимов и двойных антонимов. Идеологически маркированные слова образуют четыре типа отношений [9:23].

Первый тип — это полная синонимия, при которой близки или тождественны как референтные, так и оценочные значения слов: «единство-сплочённость», «деспотизм-тирания». Полные синонимы связаны субститутивной связью и являются взаимозаменяемыми словами-субститутами.

Три последующих типа представляют собой оппозитивные отношения. К ним относятся:

1) Полная антонимия или противопоставленность предметных и оценочных значений слов. Полные антонимы обозначены термином «контративы», а связь между ними называют контрарной: «единство-раскол, вражда», «миролюбие-агрессивность».

2) Предметная синонимия при оценочной антонимии. Такое отношение называется конверсивным, а слова объединённые этой связью являются прагматическими конверсивами, так как они указывают на тождественные или сходные объекты действительности (кореференты), но присваивают им противоположные оценочные значения: «свобода-вседозволенность», «миролюбие-примиренчество»; «единство-стадность». Разная оценка одних и тех же предметов, явлений обуславливает выбор различной их номинации, что ещё раз подтверждает конструктивность не только семантического, но и прагматического плана языка.

3) Предметная антонимия при оценочной синонимии. Этот тип связи обратен конверсии, так как слова имеют противоположные предметные значения, но одинаковые оценочные коннотации: «единство-размежевание», «миролюбие-непримиримость», «агрессивность-примиренчество». Антонимичные в денотативном плане и синонимичные в прагматическом аспекте слова называются коррелятивами, а связь между ними будет коррелятивной.

Таким образом, полная синонимия означает, что одни и те же явления действительности одинаково оцениваются представителями различных политических направлений. При прагматической конверсии один и тот же объект оценивается ими по-разному.

Отношения контрарности, конверсии и корреляции существуют в языке не изолированно, а образуют целостную структуру, определяющую прагматическое использование лексики [9:23]. Схематично это представлено в виде квадрата, пересечённого диагоналями, что во французской филологии названо «семиотическим квадратом» (le carré sémiotique).

Данная структура является одним из способов организации лексического материала, когда некоторое понятие может быть передано при денотативном и коннотативном членении двумя положительнооценочными и двумя отрицательнооценочными лексемами, каждая из которых несёт чёткую идеологическую установку.

Явление двойной синонимии и антонимии показывает, что в современном политическом

дискурсе в отличие от советского языка политики, идеологический компонент лексического значения утрачивает свой фиксированный характер по отношению к слову, позитивные или негативные коннотации которого зависят от идеологической позиции интерпретаторов.

Такая оценочная амбивалентность является новым феноменом для нашей политической коммуникации по сравнению, например, с политическим дискурсом Франции, имеющим более давнюю историческую традицию идеологической структурированности.

1. Белова А. Д. Лингвистические аспекты аргументации. — К., 1997.
2. Горюнов В. К. Приёмы использования языка политики в целях идеологического воздействия // Язык как средство идеологического воздействия. — М., 1983.
3. Звегинцев В. А. Что происходит в советской науке о языке // Язык и социальное познание. — М., 1990.
4. Клаус Г. Сила слова: Гносеологический и прагматический анализ языка. — М., 1967.
5. Красухин К. Г., Sériot P. Analyse du discours politique soviétique (рецензия) // Вопросы языкознания. — 1991. — № 6.
6. Крючкова Т. Б. Язык политики в работах учёных ГДР // Язык как средство идеологического воздействия. — М., 1983.
7. Политология. Энциклопедический словарь. — М., 1993.
8. Стриженко А. А. Основные закономерности использования языка в буржуазной пропаганде // Язык и стиль буржуазной пропаганды. — М., 1988.
9. Эпштейн М. Н. Идеология и язык (Построение модели и осмысление дискурса) // Вопросы языкознания. — 1991. — № 6.
10. Язык в развитом социалистическом обществе. Языковые проблемы развития системы массовой коммуникации в СССР. — М., 1982.
11. Sériot P. Analyse du discours politique soviétique. — Paris, 1985.

УДК 811.134.2

V. Shyshkov

Aspectos nominativos y combinaciones de palabras

La aparición, fijación y empleo de los nuevos elementos lingüísticos en el lenguaje y el uso de los ya existentes están acondicionados por las funciones de la lengua, la que es el medio universal de la comunicación. Fuera de estas funciones las unidades lingüísticas no pueden ni existir, ni aparecer. De toda una serie de las funciones del lenguaje las más importantes y determinantes son la comunicativa y nominativa, ya que son las primordiales en el servicio de la comunicación y denominación. Están estrechamente interrelacionadas e inseparables, ya que es imposible realizar la comunicación sin la denominación, de la misma manera que la denominación es inconcebible, si no comprende la comunicación. Es natural, por eso, que las unidades del lenguaje que aparecen como reacción a cada una de estas funciones poseen por su naturaleza este carácter doble. Incluso la oración que es, sin duda, una unidad comunicativa, puede cumplir al mismo tiempo la función nominativa también, denominando un suceso o una situación. La palabra, que es la unidad más representativa de la denominación, con todo el sistema de sus formas lleva el rumbo para participar en un enunciado, en otros términos, sirve a la comunicación.

Ambas funciones desde los tiempos más remotos llevaban la atención de los filólogos. Todavía en la filosofía antigua de la lengua se formaban, por una parte, las reglas de uso del lenguaje y, por otra, se elaboraba la teoría nominativa que abarcaba el estudio de las relaciones entre el nombre y la cosa, sin olvidar también el lugar del hombre en el establecimiento de estas relaciones. Con la aparición de la lingüística como ciencia, no obstante, una prioridad principal la tenían durante un largo período los problemas de estructura fonética y gramatical de la lengua, mientras que los procesos nominativos estudiaban poco, considerándolos erróneamente evidentes por sí mismos. Sólo a finales del siglo XIX y a principios del XX un gran aporte en esta cuestión lo ha hecho la escuela de nombres y cosas que pretendía a establecer el vínculo entre los cambios de los objetos del mundo y sus nombres y revelar las regularidades de la estructura semántica del lenguaje. Ya H. Schuchardt consideraba el problema nominativo uno de los principales en la lingüística: "La ciencia del lenguaje, - escribía, - es ora la ciencia del significado, ora la ciencia de la denominación" [1:238].

Cualquiera de estas ciencias, según él, debe de ser por sí una historia del hablante y reflejar las diferenciaciones que aportan al diccionario las variables agrupaciones sociales. Desde las obras de H. Schuchardt toma su inicio otra rama de la lingüística que es la ciencia de la nominación, posteriormente nombrada la onomasiología, ciencia de los principios y regularidades del proceso denominativo de los objetos y sucesos.

Los científicos de la Escuela de Praga posteriormente fundamentaron la necesidad de una teoría especial de nominación elaborando sus primeras bases. Desde aquel tiempo con el término de “nominación” definen la totalidad de unos procesos variables en los cuales se realiza la función denominativa de la lengua. En el sentido gnoseológico bajo la nominación se entiende el proceso de fijar a un hecho o un suceso, que se diverge de la realidad, un cierto medio lingüístico como su signo, signo de un idioma determinado, de su sistema. Una peculiaridad importante de la nominación se considera lo que la denominación de un objeto se realiza indirectamente, a través del concepto que se forma en la experiencia de una sociedad lingüística correspondiente.

Los lingüistas praguenses consideraban al mismo tiempo la palabra como el principal medio denominativo y su producto también: “La palabra, estudiada desde el punto de vista funcional, -escribían ellos,- es el resultado de la actividad nominativa del lenguaje que a veces está inseparablemente ligada con la actividad sintagmática.... Por medio de la actividad nominativa la actividad lingüística divide la realidad (no importa que sea interna o externa, concreta o abstracta) en los elementos lingüísticamente definibles” [2:431]. Subrayando que la actividad nominativa en su esencia posee el carácter universal, los lingüistas praguenses indicaban a la vez que los procesos y regularidades nominativos estaban impuestos por el sistema de un idioma dado: “Cada lengua tiene su peculiar sistema nominativo, - subrayaban,- emplea diferentes formas nominativas con distinta intensidad... Cada lengua tiene su propia clasificación de los medios comunicativos y crea su propio vocabulario especial. Este tipo de clasificación está determinada, en particular, por el sistema categorial de las palabras, cuyos exactitud, volumen y estructura interna deben ser estudiados para cada lengua de una manera específica” [ibid]. Han sido fijados también los caminos que tenían que seguir las investigaciones de los medios concretos y procesos de la nominación lingüística: “El análisis de las formas de la nominación lingüística y la clasificación de los medios nominativos no determinan todavía suficientemente el carácter del caudal léxico de un idioma dado, - escribían,- para dar una característica al léxico hay que estudiar además el volumen y la exactitud de los significados en la nominación lingüística en general, así como en las distintas categorías nominativas, en particular; determinar las esferas nocionales, fijadas en los elementos de cierto vocabulario; indicar la creciente “intelectualidad” de la lengua; establecer de que manera está abasteciéndose el vocabulario (por ejemplo, préstamos, calcos, etc.); en otras palabras, investigar los fenómenos que se refieren como regla a la semántica” [ibid:432].

Definiendo las tareas de semasiología, los lingüistas de Praga salían fuera de los límites de la nominación propiamente dicha ya que ella tenía que dedicarse, siguiendo su opinión, al estudio no sólo de los medios y métodos denominativos de ciertos hechos reales, sino de los procedimientos de combinar estas nominaciones en oraciones enmarcadas por una u otra situación concreta. Más tarde tal vasto entendimiento de la nominación no se ha justificado. A pesar de que las unidades lingüísticas que se forman en los actos nominativos se piensan desde el mismo principio referentes a la paradigmática y a la sintagmática de la lengua, la onomasiología se ha concentrado en los procesos nominativos propiamente dicho, dejando el estudio del comportamiento de las unidades nominativas que aparecían en las disciplinas colindantes, tales como la sintaxis y la estilística, lo que le había permitido definir más exactamente el objeto de su estudio y elaborar una metodología especial.

Más complejo resultó hacer la delimitación entre la onomasiología y semiología (semiótica). La última ha aparecido casi al mismo tiempo que la onomasiología y ha empezado a desarrollarse como una ciencia sobre las cualidades más comunes de los sistemas de signos en general. Ambas disciplinas estudiaban la palabra, pero una como un signo semiótico, la otra como una unidad nominativa. Lo que la onomasiología estudia como la nominación, para la semiología se presenta como la denominación, es decir, la creación, formación de un signo que representa cierto contenido. En rasgos generales estos procesos coinciden y como consecuencia muchos autores empezaron a confundir estos dos enfoques: onomasiológico y semiológico, y muy a menudo sustituyen los términos de una disciplina por los de la otra. Por ejemplo, en las obras de la teoría de la nominación (así suelen llamar ahora la onomasiología) la misma unidad lingüística muy a menudo llaman con el término semiológico el signo o signo verbal (oral). Entre tanto en el enfoque y el método de estudio entre estas dos disciplinas existen las diferencias muy importantes.

Como se ha mencionado, la semiología estudia los sistemas de signos en general incluso la lengua en la medida que ella posee las cualidades semióticas. Debido a esto el semiólogo estudia los signos no porque

estos representan unos u otros elementos del contenido, sino porque ellos cumplen las funciones de los componentes del sistema de signos. En el proceso nominativo no le interesan tanto la correlación del signo y su significante, sino el valor del signo que está acondicionado por su lugar en el sistema general de los signos. La onomasiología, al contrario, se pone como objetivo de estudio la correlación de los medios nominativos de la lengua con los hechos de la realidad objetiva, en la cual funciona el idioma dado. Y, a pesar de que los intereses del onomasiólogo no se limitan con el acto de aparecer una nueva unidad nominativa, él estudia todas las unidades lingüísticas en un sólo aspecto: desde el punto de vista de su relación con la función nominativa. Al mismo tiempo que la semiología quita de la esfera denominativa el sujeto que realiza la nominación, es decir depersonaliza estos procesos, la onomasiología presta muchísima atención al aspecto personal y social de los procesos nominativos y en la relación que revela el sujeto al objeto nominado, en la influencia que está ejerciendo la experiencia social del individuo y grupo lingüístico en el nombre. La semiología estudia el signo como algo de un sistema sincrónico estático. La onomasiología dedica mucha atención a los procesos de desarrollo y cambio del determinante y determinado en su vínculo inseparable. La semiología en la esencia reduce la determinación a un acto mecánico de fijar un signo por un objeto. La onomasiología al contrario considera la nominación como un proceso enjundioso, realizado por el pensamiento a base del sistema nocional que se forma y se desarrolla. “Desde el punto de vista del sujeto, - escribe Yu.V.Stepánov, - la noción logra el nivel superior de la generalidad sólo porque aparece dentro del proceso de un conocimiento profundo de la realidad y no por una persona, sino por mucha gente y en fin por una sociedad en su totalidad. En este sentido el sujeto de la noción es una sociedad” [3:11]. En el proceso de formarse la noción las cualidades naturales y los rasgos del sujeto se transforman, su relación con el objeto se idealiza, se prescinde, pero al mismo tiempo los procesos nominativos conservan su carácter concreto.

“El enfoque onomasiológico a deferencia del semasiológico, - indica A.A.Ufimtseva, - es el que estudia la parte significativa de las unidades lingüísticas no desde el punto de vista de la formación de su valor intrasistémico y el mecanismo de la difusión de las palabras y locuciones, sino desde el punto de vista de la tendencia hacia el objeto, es decir, la correlación de las unidades lingüísticas con la fila objetiva extralingüística como un medio denominativo, proceso de la nominación del último” [4:19]. En otras palabras, la semiología observa las mismas relaciones entre el signo y el determinado como la onomasiología, pero desde dentro del sistema de signos, en este caso de la lengua, más este en principio podía ser cualquier otro código diferente. La onomasiología estudia las relaciones que vinculan el objeto en nominación con su nombre, desde el punto de vista de interrelación entre la lengua y su medio de actuación. La unidad nominativa, a diferencia del signo semiótico siempre posee un carácter activo, creador, ya que la nominación nunca se efectúa fuera de la actividad lingüística, fuera de la actividad y el contacto de los portadores de un idioma con el ambiente extralingüístico. El enfoque semiológico respecto al signo lingüístico toma en consideración su carácter funcional, su destino y su papel sistémico, pero a diferencia del onomasiológico deja de considerar que en el acto denominativo (e incluso nominativo) tiene lugar no sólo la denominación, sino la reflexión de la realidad exterior. Para la onomasiología, al contrario, este momento es muy importante ya que ella aprovecha los vastos conocimientos obtenidos en otras esferas de la ciencia tales como el estudio del pensamiento nocional y percepción psicológica.

Como ya se ha mencionado, los lingüistas praguenses permitían en ciertos momentos la unión de los procesos nominativos con los sintagmáticos. Este punto de vista sostenían también algunos científicos soviéticos. Así, V.V.Vinogradov reiteradas veces subrayaba, que la función nominativa la realizan no sólo las palabras, sino las locuciones también, por eso estas había que estudiarlas no sólo en el aspecto sintagmático, sino onomasiológico también: “Las locuciones, como las palabras, - escribía, - pueden y deben ser estudiadas no sólo en el seno de la oración, como sus elementos estructurales, sino como distintos tipos de los nombres compuestos” [5:409]. Este científico distingue exactamente la locución como unidad nominativa y su realización en la oración: “La locución sólo en la estructura oracional y a través de la oración entra en el sistema de las categorías comunicativas del habla que son los medios de comunicación” [ibid:443]. Por consiguiente, la locución fuera de la oración no es una unidad comunicativa, sino nominativa. La locución, - declara V.V.Vinogradov en otro lugar, - no se correlaciona con la oración y disimila de ella. La locución es una combinación de palabras, organizada según las leyes de un idioma dado que expresa cierta noción, a pesar de ser compleja, capaz de servir a su denominación, [ibid:447]. L.V.Shcherba también indicaba que la locución usan tanto en la comunicación, como en la nominación, ya que expresa una compleja noción, aunque dividida [6:123].

A pesar de que estas sugerencias no se han quedado sin atención, más de esto, las citan muy a menudo y con ganas, en la práctica los trabajos, dedicados especialmente a las locuciones, su función nominativa ora la ignoran absolutamente, ora ponen al segundo plano. En las gramáticas normativas de distintos idiomas la

locución se describe como la unidad de la “sintaxis pequeña” y sus aspectos nominativos dejan de estudiar. Incluso en la monografía académica de dos tomos “Nominación de la lengua” [1977] la locución sólo mencionan entre los medios de la directa nominación elemental, pero sus cualidades de una unidad nominativa no se desarrollan en ninguna parte. Todas las cualidades y regularidades nominativas siguen siendo estudiadas en esa obra sólo a base del material del “signo verbal”, es decir, una palabra.

En cierta medida un papel importante en esta cuestión lo desempeña el hecho de un desarrollo deficiente de los problemas terminológicos de onomasiología. Todavía los lingüistas de Praga prestaban atención a que sus principales nociones científicas hacía falta expresar con otros términos que fueran más correspondientes a su especificidad y tareas, en comparación con los términos de la gramática. “Las directas “correlaciones lingüísticas” entre la noción y pensamiento, — escribía M. Docúli, — no hay que buscar en la esfera del sistema lingüístico. La directa expresión “lingüística” de una noción, — no es una palabra, sino nominación (proceso de dar el nombre); una directa expresión lingüística no es una oración, sino un enunciado” [7:206]. La función lingüística de la nominación se realiza no sólo con la palabra, sino por una serie de las unidades más complejas en su estructura, que hace poco fueron estudiadas intuitivamente como equivalentes de la palabra.

Teniendo en consideración lo expuesto la onomasiología necesita otro término que pueda significar cualquier unidad lingüística nominativa que se caracterice por la unión y enteridad de su función nominativa independientemente de su estructura formal y gramatical. Ya hemos dicho que la palabra no agota todo el volumen de las funciones nominativas. Partiendo de estas premisas en la lingüística ya se han expresado algunas propuestas. Por ejemplo, V. M. Pávlov considera necesario emplear junto con el significado de “la unidad básica de los signos lingüísticos que directamente sirven a la actividad nominativa” el término de lexema que ya se usa ampliamente en las obras escritas [8:19]. Desgraciadamente la cuestión se agrava no sólo porque el término propuesto ya está ocupado en otra rama, sino porque es polivalente: ya actualmente se usa con el significado de: 1) palabra-tipo, 2) unidad compuesta del nivel semántico, cuyo contenido no difiere de la estructura o significado de sus componentes, 3) morfema léxico. Tal sobrecarga semántica y funcional del término no puede servir benéficamente al terminosistema de esta rama. V.G. Gak propuso sus nombres de los factores principales del acto nominativo: nominador — el que hace la nominación, nominante — nombre, objeto nominado — nominado [9:241]. En otros trabajos el término de nominación se usa con dos significados: el mismo acto nominativo y su nombre verbal, lo que tampoco es bueno, ya que requiere determinación en cada caso concreto. Se ha propuesto en calidad del término principal de onomasiología usar el cienticismo nomen con su abreviación de UN (de la noción “unidad nominativa”) etc.

Consideramos más necesario usar para estos objetivos el término nominema con el significado de “medio lingüístico” que se emplea para una función nominativa en su enteridad. Este término tiene una forma interna bastante transparente y entra fácilmente en las filas ya admitidas: a) fonema, morfema, grafema, semema, etc., y b) nominación, nominativo. Nominemas pueden ser subdivididos en a) por los rasgos formales estructurales como enteros (simples, derivados, compuestos) y dividibles o en otras palabras monolexémicas y polilexémicas; b) por la manera de nombrar: directos, indirectos, figurados; c) por el carácter del determinante: fragmentales, acontecidos; d) por la relación al sistema de la lengua: ocasionales, usuales, etc.

La palabra de tal manera representa por sí uno de los tipos de nominemas, el más importante y básico, pero el que no agota todas las formas y necesidades posibles de la nominación. Por consiguiente, la lexicología como una disciplina que estudia la palabra, sus cualidades y medios de funcionamiento, debe entrar como un formante más en la onomasiología de un idioma dado. La fraseología y frasémica, las que ahora se incluyen sin suficientes razonamientos dentro de la lexicología, en realidad representan por sí unas partes de igual derecho con ella y forman parte de la onomasiología. El problema de los equivalentes de palabras, de igual manera como el problema de la palabra analítica a los cuales se ha dedicado muchas discusiones candentes y en su esencia dejadas sin solución alguna, con tal entendimiento de los medios nominativos de la lengua y la propuesta subdivisión de las disciplinas lingüísticas correspondientes, se quitan por sí solos del orden del día. Debido a que la rama de la nominación sobrepasa mucho los límites del léxico (vocabulario), pues la esfera de formarse los nominemas es más vasto que la esfera de formación de palabras. Esta rama incluye en sí también diferentes modos de formación de frases (creación de combinaciones nominativas de distintos tipos), formación de fraseologismos e incluso los modos de la realización nominativa de enunciados.

La limitación del corpus de las unidades nominativas sólo con las que tienen indudables estatuto y forma de palabra tuvo como consecuencia una serie de inexactitudes en la comprensión de la esencia de las unidades lingüísticas y peculiaridades de su funcionamiento. Así, la locución solían estudiar en la descripción de unos idiomas concretos, como se ha señalado anteriormente, sólo como una unidad de la sintaxis y sus aspectos nominativos no se han estudiado, ni aclarado. Ya que una locución se forma debido a las reglas de combinación

gramatical, la tratan como una unidad comunicativa. Es evidente que en este enfoque ya se puede incluir ciertas precisiones. Se sabe bien que incluso en la esfera de las palabras formalmente enteras de las lenguas modernas tiene gran divulgación así llamada composición sintáctica (inglés: *make-believe, forget-me-not*, alemán: *dumpfkopf der studenplan*, español: *correveidile, rompeolas*, francés: *clairsemé* etc.). El modo sintáctico de la formación de estas palabras no da, sin embargo, los fundamentos para referirlas a las unidades sintácticas. El criterio decisivo resulta ser el funcional y los ejemplos dados, creados para la nominación de los objetos sustantivados, el hablante los percibe como unos sustantivos.

Partiendo del criterio funcional que en este caso es el más importante y determinativo, hay que tener en cuenta que cualquier locución surge con el objetivo de nombrar una noción compuesta y por esta razón representa por sí un nominema. Creando una locución de tipo inglés: *the present circumstances*, español: *las circunstancias dadas*, sólo usamos el modo sintáctico de crear un nombre unido. Este nombre complejo, claro, desde el principio está dispuesto a entrar en unas formaciones verdaderamente comunicativas que son los enunciados. *In the present circumstances I can't do anything. En las circunstancias dadas no puedo hacer nada.* En este caso los nominemas tanto inglesa como española se realizan en los syntaxemas, partes de sintagmas: *in the present circumstances — en las circunstancias dadas*. Incluso cuando el exnominema formando parte de un enunciado-oración externamente no sufre ningún cambio, por ejemplo: *The present circumstances are rather unfavorable — Las circunstancias dadas son bastante desfavorables*, el exnominema se transforma radicalmente desde el punto de vista gramatical, obteniendo el significado del predicado, vínculo con el predicativo, etc. Ahora bien, fuera de la oración la locución es nominema, y dentro de su estructura, es syntaxema.

Algunos autores, si admiten que a la locución le puede ser característica la función nominativa, en realidad la limitan sólo con un tipo de locuciones, las locuciones estables de tipo: *economía política, rendición de cuentas, resistencia de materiales* etc. La enteridad semántica de estas denominaciones complejas y la inseparabilidad de sus componentes resulta ser una demostración muy convincente de que ellas representan por sí la única unidad nominativa, el nominema. Realizándose en una oración, — escribía A. M. Mújin, — las formaciones terminológicas dadas entran en una relación sintáctica como formaciones enteras inseparables y por consiguiente en unos modelos oracionales de junción obtienen reflexiones de tipo de un sólo rasgo. En otras palabras las formaciones léxicas indicadas se portan de la misma manera que los lexemas, a pesar de que externamente recuerdan unas locuciones atributivas. Pues tales unidades léxicas, que por su exterior recuerdan frases, pero se realizan en las oraciones a la par de los lexemas es necesario nombrar “frasemas” [10:224]. Distinguiendo frasemas sustantivas, verbales, adjetivales, adverbiales etc. A. M. Mújin indica que las unidades análogas existen no sólo en la terminología, sino en el habla cotidiana.

Se puede consentir globalmente este punto de vista. En las locuciones-frasemas, así como en los fraseologismos, es muy evidente y notable la esencia cualitativa del nominema. Sin embargo, las locuciones libres poseen de la misma manera el carácter del nominema, sobre lo cual atestigua la facilidad de su empleo incluso para los títulos de las obras literarias: *La consagración de la primavera. Flor de santidad. Agua quemada. La vecina orilla. La hoja de aire*, etc.

La diferencia entre los nominemas — combinaciones libres y nominemas frasemas comprende que durante la transformación en el sintagma los primeros son capaces de dividirse en unos cuantos syntaxemas, mientras tanto los frasemas suelen realizarse en la oración en forma de un solo sintagma.

Concluyendo cabe mencionar que las cualidades nominativas de las locuciones, en particular españolas, quedan todavía estudiadas insuficientemente. Entre tanto el analitismo de su estructura favorece muchísimo a la contracción de los lexemas en los nominemas compuestos, pero enteros.

1. Шухардт Г. Избранные статьи по языкознанию. — М., 1950.
2. Тезисы Пражского лингвистического кружка // Хрестоматия по истории языкознания XIX-XX веков. — М., 1956.
3. Степанов Ю. С. Основы общего языкознания. — М., 1975.
4. Уфимцева А. А. и др. Лингвистическая сущность и аспекты номинации // Языковая номинация. — М., 1977.
5. Виноградов В. В. Исследования по русской грамматике. — М., 1975.
6. Щерба Л. В. Фонетика французского языка. — М., 1937.
7. Лингвистический словарь Пражской школы. — М., 1964.
8. Павлов В. М. Понятие лексемы и проблема отношения. — Л., 1965.
9. Гак В. Г. К типологии лингвистических номинаций // Языковая номинация. — М., 1977.
10. Мухин А. М. Лингвистический анализ. — Л., 1976.

Специфические формы выражения экспрессивной семантики в русских островных говорах Одесской области

Материалы диалектологических экспедиций Одесского национального университета им. И. И. Мечникова содержат ценные сведения о функционировании на территории Одесщины говоров русских переселенцев из центральных губерний России.

Своеобразие русских говоров Одесской области определяется во многом специфическим полиязычным окружением — украинским, болгарским, молдавским. Сложившиеся исторические, социально-экономические, культурно-бытовые связи, постоянные языковые контакты русских с украинцами, болгарскими, молдаванами нашли яркое отражение в словарном составе русских островных говоров.

Большой запас информации о коренных самобытных носителях южнорусского наречия несут глагольные слова, — представители наиболее конструктивной части речи, обладающие наиболее емкой и гибкой структурой. Их способность экспрессивно и выразительно характеризовать лицо, предмет речи, выражать социальную оценку и эмоциональное состояние говорящего стала предметом нашего изучения.

В диалектной лексической системе “как бы сосредоточивается максимальный набор средств экспрессивного выражения, что легко подтверждают обширные синонимические ряды” [2:204], среди которых важное место занимают глаголы с семантикой **выпить вина, водки; напиться пьяным**: колкануть — запалить — скоблинуть — напáузиться — накосáриться — навэзкаться — набухáриться — накрáситься — понабуздáриться; **обмануть**: кандыбáчить — обсиминтировать — замунтаякать — общеддыкать; **тяжело работать**: магарить — магарничать — биться — башкара́ть — кандыбáчить.

Диалектоносители зачастую употребляют экспрессивные глаголы, имеющие формальный признак, лежащий на поверхности языковых фактов. В русских говорах Одесщины таким показателем экспрессивности является суффикс **-ану-**, выражающий значение “однократного, как правило, интенсивного или резкого, неожиданного действия”: **моргануть** *взять в жены* (Ён первый морганул дефку. Введенка), **секануть** *ударить чем-нибудь острым* (Другой рас секанеш в няе. Ст. Некрасовка), **хлебануть**, **хлыбануть** *напиться*, **кантануть** *контузить*, **тибануть** *выпить*, **дерануть** *украсть*, **бузануть** *сильно ударить*, **сергануть** *ударить плеткой*, **колкануть** *выпить вина, водки* и т.п. Подобные экспрессивы имеют и экспрессивное содержание и экспрессивную форму. Среди них преобладают словообразовательные глагольные транспозиции, часть из которых — это преобразованные украинские заимствования: **блыскануть** *сверкнуть* (ср. укр. блискати *сверкать*), **рухануть** *двинуть* (ср. укр. рухати *двигать*, рухнути *двинуть*). Модификации менее свойственны русским островным говорам Одесской области.

Глагольные экспрессивные суффиксы крайне редки. Сравним словообразовательные варианты семемы “**бить кого-либо**”: **лупáсить** (За што ж ты явó лупáсиш? Ст. Некрасовка), **лупáцкать** (в литературном языке нет глагольных образований с этим суффиксом) (Лупáцкали нас дóбре. Муравлевка) и однокоренное украинское заимствование **лушпáрить** (Анó такóе растёт непаслúшнае, што евó тóлько лушпáрить náда. Ст. Некрасовка), где **-ас-** = **-ац-** = **-ар-**. Такие суффиксы непродуктивны и в литературном языке, и в диалектном.

Диалектным глаголам в целом не свойственны аффиксы, вносящие эмоциональную окраску. Семантически главным носителем качества и меры экспрессии в глагольных словах является основа, так как глагольный суффикс чаще всего нейтрален.

Пополнение экспрессивно-выразительного глагольного фонда в говорах русских переселенцев в основном осуществляется за счет глагольных лексем, образованных от экспрессивных слов без экспрессивных суффиксов. Такими единицами являются глаголы с метафорическими основами типа **гáдиться** (прен.) *брезговать* (Ён гáдицца ёсть с этай миски. Вознесенка), **трáпать** (през.) *пустословить*, **выцупиться** (насм.) *вырасти очень большим и глупым*.

Эта группа экспрессивов пополнилась глаголами, образованными от заимствованной из родственного болгарского языка метафорической основы **магар осел**: **магарить**, **магарничать**

тяжело работать (Магáрить на́да харашб, а то ме́ду ни бу́дить. Ст. Некрасовка. Ну и ста́ла я ма́гáрничать. Нов. Некрасовка), причем образование первой лексемы шло по аналогии с лите-ратурной моделью ишачить < ишак.

Связь между производящим и производным легко осознается говорящими. Метафорический образ появляется иногда в производном глаголе при возникновении дополнительных ассоциаций: *раскирпичиться рассердиться* (как кирпич красный — человек в гневе).

К образованию экспрессивных глагольных единиц — своеобразных словообразовательных метафор приводит свертывание словосочетаний: *мозго́ловить* (одоб.) *понимать, разбираться* (А э́тат са мно́й аста́лся, мазго́ловить дюжы. Нов. Некрасовка.), *стукула́читься* (неод.) *связы-ваться с кем то, гордохва́тить* (неод.) *кричать, ухолома́нить* (презр.) *убить*. В говорах русских сел Одесщины экспрессивы с метафорическими основами немногочисленны.

Разнообразную и довольно большую группу составляют глагольные экспрессивы со свя-занными основами (корнями). Лексический мотиватор таких основ, реализующий экспрессив-ное содержание — это семантически опустошенные корни, уникальные по содержанию. Слово-образовательные мотиваторы обеспечивают узнаваемость слова даже при крайнем положении лексических мотиваторов на шкале необычности: *нарекоше́тить* (неод.) *напроказничать, наху-лиганить* (Нарекаше́тят так вот, а патом ни знають што делать. Васильевка), *отпузы́рить* (ирон.) *отслужить, отработать* (Три года в гораде атпузырил. Сергеевка), *напруты́литься* (ирон.) *на-пудриться* (Аны как напрутылю́цца белай глинай. Антоновка), *выгва́заться* (ирон.) *испачкаться, напauзиться* *напиться, задубиться* (ирон.) *поднять подол платья, оголиться, заматре́нить* (пре-неб.) *соблазнить, куё́лдать* (пренеб.) *путать, запутывать, сбендежить* (неод.) *пустить налево, безл. разматре́нить* (ирон.) *разнежить*. Часто, рассматривая лексический мотиватор, мы не на-ходим даже намека на его смысловое родство со своим производным. То есть его функция — это обеспечение семантической необычности. Основную же семантическую нагрузку несут аф-фиксы, придавая устойчивость лексическим единицам и поддерживая логическое и понятийное единство с нейтральным аналогом. Это происходит из-за разрыва первоначальных существую-щих связей, характеризующихся ассоциативным характером. Поэтому такие связи легко утра-чиваются.

Ученые неоднократно обращали внимание на прямую связь между степенью коннотатив-ной и экспрессивной выразительности слова и степенью проявления фонетического значения его звуковой формы. Способность мозга устанавливать условные связи между предметами или их действиями и сопровождающими их звуками является предпосылкой для возникновения нео-бычного фонетического значения. Звук становится заместителем предмета или действия, его символом. Так как явления реального мира оценивает воспринимающий их человек, то свои оценки он переносит и на звуки, которые сопутствуют этим явлениям. Еще М. В. Ломоносов, описывая способность звуков речи вызывать определенные звуковые явления, отмечал: “Через сопряжение согласных твердых, мягких и плавных рождаются склады, к изображению силь-ных, великолепных, тупых, страшных, нежных и приятных вещей и действий пристойные” [3: §§172-173, с. 241].

Необычность звуковых форм, порождаемая звукоподражанием и звукосимволизмом, является одним из лексических показателей экспрессивности глаголов в говорах русских переселенцев Одес-щины.

Приведем отдельные примеры: *жа́хнуть* (неод.) *выпить, жа́мкать* (презр.) *стирать иебреж-но, кое-как, хра́пнуть* (неод.) *ударить, буха́рить* (презр.) *пьянствовать, швалька́ть* (неод.) *тя-нуть что-либо, шала́ться* (презр.) *ходить, бродить без дела, шубу́шкувать* (неод.) *шуметь*. Гово-рящие, даже не зная значения указанных слов, ассоциативно связывают их с негативными эмо-циями. Этому способствуют имеющиеся в звуковой форме “плохие” согласные *х, ж, ш*. С отри-цательными явлениями или с их отрицательной оценкой связывают диалектоносители также слова с сочетаниями разных звуков с сонантом *р*. Иногда такие сочетания могут находиться еще и в окружении “плохого” гласного *у* или *ы* или неблагозвучного сочетания *нд*: *тры́нькать* (пренебр.) *расходовать, трынде́ть* (пренебр.) *болтать, турбу́хаться* (ирон.) *тарахтеть, здри́с-нуть* (ирон.) *упасть, шлепну́ться, тра́шкать* (пренебр.) *бить, ударять, карбу́каться* (презр.) *дер-гаться, скардлю́читься* (неод.) *сгорбиться, согну́ться, скуко́ржиться* (неод.) *скрутиться, согну́ться*. Пополнилась эта группа экспрессивов и заимствованиями из украинского языка — своеобраз-ными глагольными характеристиками различных психофизических действий человека: *пéтрать*

(пренебр.) *понимать, разбираться, чкурнѹть* (насм.) *ударь, чухмѹриться* (насм.) *чесаться*. Недаром В. В. Виноградов писал, что украинское просторечие и повествовательно-бытовые стили украинской народной словесности “в аспекте русской литературно-языковой словесности рассматриваются преимущественно как источник национально-характеристических красок” [1:381].

В русских говорах Одесщины весьма употребительны глагольные экспрессивы с архисемой «говорить», «есть, пить», «ходить», которые имеют в своей звуковой форме различные с звукоподражательные и звукоименные сочетания: *буботѹть ворчать, бубѹкать бубнить, хухукѹть приговаривать, трахомѹтитѹть болтать, трепѹть языком, белебѹнить болтать* (Што он там белебѹнить?), *лѹмѹкать жевать с беззубым ртом* (Я лямкаю, ды никак ни ражжюу. Введенка.), *жлѹкать жадно пить большими глотками, зажвѹкать закусить налегке, лѹсѹкать есть с аппетитом, мѹзѹдать есть много и с жадностью; навѹкѹться напиться пьяным, сербѹать хлебѹть похлебку, борѹть и т.д., тѹпѹпать семенить ногами* (Юбка была узка и девка тѹпала. Большое Плоское), *лѹмпѹпать идти, с трудом перебирая ногами”, фихнѹть убежать*.

Сравним также: *тѹкнѹть ѹкнѹть, чѹкать долбить, ударить, клеѹвать, тѹркѹть взбивѹть сметану, маслѹ, гульѹкотѹть спать с клокотанием в горле*.

В исследуемых говорах немало глагольных экспрессивов с сочетанием *тара-* (*тра-*), которое ярко маркирует эти единицы, выделяя их из всего экспрессивного диалектного фонда: *тараѹкнѹть говорить, разговаривѹть* (Их дочка тараконить пабалгарски. Мирное.), *тарабѹнить говорить попусту, болѹтать, таратѹчить быстро говорѹть, таракѹтѹть болѹтать, трахомѹтитѹть болѹтать, трепѹть языком*. Как показывают примеры, слова с такими сочетаниями, как правило, входят в ЛСГ процесса говорения.

Необычность в звуковой форме экспрессивных глаголов наблюдается при наличии сочетании плохого согласного с “плохим” гласным *у* или *ы*: *наѹфурѹнѹться, наѹфурѹнѹться франтовѹто нарядѹться, хухукѹть ругѹть*. В подобных образованиях усиливается ощущение необычности из-за повторения слогов с одним и тем же по артикуляции гласным, порождающим своеобразный сингармонизм.

Таким образом, диалектоносители умело используют “подходящую” символику звуков при оформлении понятия. Связь эта устойчива и взаимообратна.

Особое место среди экспрессивных глаголов с разной степенью структурной членимости производной основы и семантической мотивированности занимают экспрессивы с архаичными префиксами *ко-* (алломорфы *кѹ-*, *ка-*), *че-* (алломорф *ч-*), унаследованными из индоевропейского языка. В говорах Одесщины такие единицы представлены достаточно разнообразно: *переѹверзѹнить* (Я пака скажу, фсѹ перекаверзеню, Ст. Некрасовка.), *отѹбѹчить, копѹжитьсѹ, чѹвалѹндѹть, кѹбыркнѹтьсѹ, кабыркнѹтьсѹ*. Изучаемый материал показывает, что архаичные приставки — это значимые экспрессивные элементы. Их сущность — полнее выразить стремление языка к аффективности. Нужно отметить, что все диалектные приставки в говорах передают исключительно негативную оценку. Так, *переѹверзѹнить* (насм.) “*перепутѹть*” (здесь наслоение приставок усиливает качество действия) — ср. с однокоренными просторечными *каверза, вверзѹтьсѹ; отѹбѹчить* (ирон.) *отработѹть* ср. с функционирующим наравне однокоренным *отбѹчить зарѹботѹть*, с укр. *вѹдбѹча повиннѹсть*. Аналогично наравне употребляются *валѹндѹть* и *чѹвалѹндѹть* с одинаковой семантикой *слонѹтьсѹ без дела*.

Локальные *кѹбыркнѹтьсѹ* (пренебр.) *умерѹть* (Как там дет? Ище ни кѹбыркнѹлся? Ст. Некрасовка) и *кабыркнѹтьсѹ* (ирон.) *умерѹть* (Пил-пил, да и кабыкнѹлся. Спасское) высвечивают важные свойства архаичных экспрессивных приставок — их варьирование, воспроизводимость, сменяемость, взаимодействие между собой. Наблюдения показывают, что экспрессивные архаичные приставки модифицируют семантику производящего слова в плане экспрессии. Это свойство экспрессивных префиксов объясняет почти полную их синонимичность, взаимозаменяемость без какого-либо ущерба для семантики слова.

Неэкспрессивные приставки отличаются от экспрессивных своей продуктивностью. Исследуемый диалектный материал показывает, что архаичные приставки (особенно *ко-*) не мертвы. Несмотря на то, что говорящие не осознают архаичные префиксы как самостоятельные морфемы, и необходимость в реализации подобных экспрессивных приставочных глагольных моделей возникает случайно, в русских островных говорах Одесщины пополнение экспрессивного фонда происходит часто за счет таких образований: *заѹзѹбнѹть* (насм.) *замерзнѹть* — ср. с лит. *озѹбнѹть, заѹзѹбнѹть; казѹбѹть* (насм.) *есть* — ср. с функционирующим наравне *пѹзѹбѹть*

(ирон.) *немного поест*, укр. дзюб клюв, дзюбати клевать, *кля́мкать чавкать* - ср. с однокоренным *ля́мкать жевать беззубым ртом*.

М. П. Яценецкая отмечает, что “производных слов, характеризующих нетипичными семантическими... показателями, не так уж мало” [8:46].

Знание о мире, его индивидуальное видение русские переселенцы отразили в языковых единицах с формально не выраженной экспрессивностью. Форма таких экспрессивов нейтральна, экспрессивно в них лишь содержание. Образованы они путем метафорического переноса наименований. Такие единицы осознаются как экспрессивы, если между прямым и переносным значением ЛСВ одной лексемы формируются связи контрастного характера.

Насколько метафорический процесс субъективен, сколько в нем воображения и опыта “языковой личности”, обладающей своим личным лексиконом, ярко показывает диалектный материал. Зафиксированные в русских островных говорах Одесщины однокоренные глагольные метафоры отражают различные ассоциативные ощущения диалектоносителей, их личностную интерпретацию однородных фактов действительности: *набодать* (неод.) *избить* (Ст. Некрасовка) и *бодаться* (насм.) *ссориться* (Спасское). Аналогичный процесс фиксируют метафоры-омонимы *скрутиться* *забеспокоиться* (Вознесенка), *скрутиться* *очень сильно заболеть* (Ст. Нескрасовка). Субъективное отношение творца метафоры, как видно, проявляется в выборе вспомогательного объекта, который ассоциативно “характеризует положительную или отрицательную ценность обозначаемой реалии, а вместе с тем еще и “возвышает” либо же “принижает” ее в восприятии слушающего и вызывает у него одобрительную или неодобрительную эмотивную квалификацию” [7:41].

Диалектный материал русских сел Одесской области ярко высвечивает важную особенность экспрессивных глаголов метафор — антропоцентризм, выражающийся в соотносительности экспрессивов с человеком. Самая активная деятельность человека, осуществляемая и наблюдаемая повсеместно — это труд. В связи с этим в основе экспрессивных глаголов-метафор зачастую лежат глаголы, обозначающие трудовые процессы: *отбить* *отмучаться*, *работая* (Прарботала фею жизнь — атбила за фсах. Большое Плоское), *оплести* *ударить* (Раза два ево аплила, ели чирис фортачку перилес. Ст. Некрасовка), *выгнуть* *отработать*, *скубать* *чистить картошку*, *истрепать* *избить*, *наминать* *есть*, *зажарить* *выпить*, *запалить* *выпить*, *напиться* *пьяным*, *стричь* *ругать*, *забивать* *угнетать*, *мучить*.

Менее многочисленна группа экспрессивов, в основе которых лежит сема «действие, производимое предметом»: *скрошиться* *ссохнуть от старости* (Пришла пора и скрошилась старая. Б. Плоское), *кваситься* *делать что-либо медленно*, *обломаться* *стать уступчивее, мягче*, *скурежиться* *забеспокоиться*, *погнить умереть*.

Выделяется также группа глагольных экспрессивов со значением социальных и бытовых действий: *накраситься* *напиться доньяна*, *сигать* *хлопотать по хозяйству*, *выставиться* *обратить на себя внимание*, *отчепиться* *отстать*, *отвязаться*, *брить* *ругать*, *отчитывая*.

В меньшем количестве представлена группа “психофизиологические процессы”: *нюхаться* *дружить*, *опухнуть* *расползеть* и группа “действия, производимые животными”: *бодаться* *ссориться*, *браниться*, *вылупить* *родить*, *набодать* *избить*.

Несомненно, принадлежность слова в номинативном ЛСВ влияет на семантику его метафорического варианта. Анализ глагольных метафор показывает, что принцип осознания человеком себя как “меры всех вещей” способствует возникновению в сознании жителей Одесщины разнообразных способов помыслить одну сущность, как если бы она была подобна другой (олицетворение, одушевление, уподобление и т.д.).

Подводя итоги наблюдениям над глагольными экспрессивами, следует отметить, что описанные глагольные единицы русских островных говоров Одесщины отражают общую закономерность экспрессивно-выразительного фонда языка — преобладание слов с негативной оценочностью. Производные (мотивированные) глагольные экспрессивы составляют большинство среди зафиксированных экспрессивных глаголов. Их экспрессивность может быть мотивирована либо словообразовательно, либо семантически. Однако специфические аффиксы выражения экспрессивности у глагола единичны, так как роль формального средства выражения его экспрессивности — суффиксов — в сфере глаголов незначительна. Это компенсируется среди глагольных единиц специфическими основами. Изученный материал показывает, что уникальность, связанность глагольных основ, синестезия и звукосимволизм, архаичность префикс-

сов — формальні ознаки експресії (присущі переважно дієслову) — достатньо чітко фіксуються в дієсловах мов українських переселенців Одещини. Іноязычне оточення українських діалектів Одещини сприяє появі в них великої кількості експресивних лексичних одиниць. Запозичення експресивних основ або цілих дієслів-експресивів з родичніх слов'янських — болгарського і українського мов — надійшли в експресивну систему мов і функціонують за її законами.

1. Виноградов В. В. Очерки по истории русского литературного языка 17-19 веков. — М., 1982.
2. Коготкова Т. С. О стилистических категориях говора // Актуальные проблемы лексикологии. — Новосибирск, 1969. — Вып. II. — Ч. I.
3. Ломоносов М. В. Краткое руководство к красноречию // Полн. собр. соч. — М. — Л., 1952. — Т. 7.
4. Словарь русских народных говоров. — Л., 1965-1985. — Т. 1-20.
5. Словарь украинского языка. Ред. Б. Д. Гринченко. — К., 1958.
6. Словник української мови: В 4 т. — К., 1970-1975.
7. Телия В. Н. Метафора как модель смыслопроизводства и ее экспрессивно-оценочная функция // Метафора в языке и тексте. — М., 1988.
8. Яценецкая М. Н. Семантические вопросы словообразования. — Томск, 1979.

УДК 81'234

Т. Ю. Ковалевська

Сугестивна комунікація в аспекті нейролінгвістичного програмування

Сучасне розуміння комунікативних процесів ґрунтується на усвідомленні цього феномену як комплексного явища, що містить не тільки інтерактивний обмін інформацією, а й усі психофізіологічні характеристики, властиві об'єктивній ментальній моделі учасників спілкування. Антропоцентрична скерованість комунікативної парадигми призводить до необхідності філософського усвідомлення глибинної архітекτονіки мови як «всебічного представлення присутнього» [20:270] та її актуалізацій у багатомірності загальнолюдських модусів мікро- та макрокосму буття. Останнє пов'язується з визнанням «троїстості культурного фону існування людини-природи, раціональності та ірраціональності» [12:28], де трансфер ірраціонального у вербальну площину виявлятиметься у глибинних кореляціях образно-міфологічного та сенсорного типів мислення, де під сенсорним розуміється «біоенергетичний спосіб обміну інформацією, коли людина нічого не каже і нічого не демонструє... але ж передає інформацію, і вона сприймається комунікантами» [6:37].

Зазначимо, що біосенсорний спосіб комунікації не вичерпується лише дистанційним впливом і виявляється в різноманітних вербалізованих текстах ауто- та гетеросугестії, що характеризуються активністю впливового компонента мовлення як константи інформаційного процесу, оскільки «будь-яке спілкування — це мовленнєвий вплив» [8:256], де «будь-який мовець впливає» [14:155]. Загальновизнаною особливістю таких текстів вважається їх нейропсихологічна скерованість до недомінантної півкулі головного мозку, пов'язаної з підсвідомістю та холістично-інтуїтивною орієнтацією в інформаційному процесі, де «права...півкуля подає синтезоване уявлення про простір. Ліва (мовленнева у більшості популяцій) аналізує час. Права півкуля відзначає візуальні тотожності, не торкаючись концептуальних. Ліва займається протилежним. Права півкуля сприймає форму, ліва — деталі. Права півкуля кодує сенсорну інформацію, що надходить іззовні, через образи, ліва — через лінгвістичний опис» [2:63].

Отже, можна твердити, що характерною особливістю у сприйнятті оточуючого універсуму правою півкулею головного мозку є пріоритет локальної ідентифікації, образно-емоційне кодування (з елементами перманентної алогічності, оскільки «логічне мислення розташоване зліва» [5:95]) і декодування інформації, яке ґрунтується на їх аудіально-візуальній маркованості.

Сугестивні тексти (СТ) як різновид комунікації з високим рівнем психоактивності складових елементів у такому разі можна вважати вербальним втіленням ірраціонального модусу мислення, оригінальність якого досягається «певним підбором слів та звукорядів, здатних впли-

вати на глибинні структури психічної організації і зумовлювати їх безпосереднє реагування» [18:41]. Класифікація подібних текстів здійснюється за

1) ступенем їх поширеності та універсальності:

- універсальні автотексти — замовляння, мантри тощо;
- універсальні алотексти — молитви, формули аутотренінгу;
- індивідуальні СТ — тексти психотерапевтичного впливу.

2) за спрямованістю впливу:

- аутосугестивні тексти — молитви, мантри, аутотренінги;
- гетеросугестивні тексти — гіпнотичні формули, проповіді тощо [19:30].

Актуальними видаються універсальні автотексти, що «зазнали безліч впливів, релігійних цитувань та атеїстичних заперечень, але до сьогодні зберегли ту тисячолітню праформулу, що є основою кожного тексту» [17:3] і ґрунтуються на реінкарнальній, апотропеїчній, імітативно-імперативній та дистанціальній міфології [4:243-245]. Їх орієнтованість до ірраціональної сфери мислення можна довести, використовуючи відповідні методики нейролінгвістичного програмування (НЛП) як одного з сучасних комплексних методів оптимізації комунікативних процесів. Ставлення до використання засобів НЛП на сьогодні є досить неоднорідним. Так, відомий вчений, засновник Московської психолінгвістичної школи О. О. Леонтьєв іронічно пише, що «в останнє десятиліття було опубліковано багато книжок з так званого «нейролінгвістичного програмування», яке з напрямку психотерапії переросло у дещо навіподіб наукової секти — типу сайєнтології» [8:263]. З іншого боку, підкреслюється органічний зв'язок НЛП з гуманітарною парадигмою: «сама ідея аналізу поведінки людини і реконструкції талановитих стратегій поведінки, стилів мислення людей... ще в 20-ті роки називалась акмеологією» [10:56] і тепер «НЛП — це не просто техніки. НЛП — це духовність, це визначений погляд на життя, це якоюсь мірою методологія та філософія» [10:60]. Більшість же вчених, ознайомлених із стратегіями цієї науки, визнають, що «НЛП немовби стало синтезом теорії комунікації та психотерапії, зорієнтувавши методи психоаналізу на жорстко окреслені комунікативні підґрунтя» [15:52]. На нашу думку, у разі аналізу сугестивних текстів застосування стратегій нейролінгвістичного програмування буде продуктивним як з боку виявлення елементів, що моделюють певний рівень психоактивності, так й у плані визначення загальних характеристик подібних континуумів через актуальні лінгвістичні маркери.

Так, скерованість СТ до недомінантної (правої) півкулі можна підтвердити, застосувавши методику виявлення репрезентативно маркованих слів-предикатів. Відомо, що використання людиною певних сенсорновизначених слів є особистісною характеристикою її провідної репрезентативної системи, й уміння визначити їх через вербаліку може оптимізувати загальне спілкування, бо «секрети успішної комунікації полягають не стільки у тому, що ви кажете, а радше у тому, як ви це кажете» [13:53]. Проведений нами аналіз лексики, що її використано у текстах замовлянь, свідчить про актуальність аудіально-візуальної маркованості у сфері іменниково-дієслівного та атрибутивного комплексів (близько 15% від відповідної загальної кількості у кожній групі), що доводить недомінантну орієнтованість СТ.

Основним засобом структурування подій у СТ є просторова рамка, яка «у спілкуванні подає початок і кінець» [7:156] і в нашому випадку має чітку локальну ідентифікацію з переважно вертикальним типом розташування елементів та практично повним редукуванням темпоральної визначеності: «Іде Мати Божа з золотим хрестом, золотим мостом. Стрічає її Ісус Христос...» [17:20], «На синьому морі, на білому камені престол стоїть, на престолі — Матір Божа читає. Прийшов до неї Ісус Христос» (там само), «На морі білий камінь лежить, на камені — престіл стоїть, на престолі — Ісус Христос сидить і причитає...» [17:21], «Ішла Мати Божа калиновим мостом, підв'язана золотим хрестом, ішла вона, шагала» [17:36], «На синьому морі стоїть дуб Карюковий, під дубом — змія Курп'я» [17:88], «На морі-океані стоїть дуб, в тому дубі гніздо і гніздениця, в том гнізді Іван Золотоус...» [17:89]. Ці факти свідчать і про особливості національного світосприйняття, що виражається у ментальному пріоритеті його локального упорядкування та розумінні відповідного вертикального структурування як «аналогічної підпорядкованості у Всесвіті» [4:241]. Відзначимо і досить частотні випадки алогічності взаємозв'язку як між поданою локальною рамкою та її елементами, так і «безпричинний спосіб зв'язку окремих предметів і явищ» [11:200], що виявляється у загальному сюжетному малюнку й свідчить про недомінантну скерованість СТ: «На небі місяць, на місяці — море, на морі — білий камінь, на

камені сидять святі Петро, Павло і Миколай, і божий храм стоїть» [17:19], «Іду я до моря, по морю, а в морі — комора, стояв кущ терновий. А в тім куші — лисиця четверо дітей навела» [17:77], «Ішла баба з димаров, несла торбу кумаров, сіла баба оддыхати. Летів птах через новий дах, комар бабу укусив. Не буду оддыхати, пойду кров'є замовляти» [17:54].

Сучасні дослідники зазначають складність декодування фідейстичних текстів, вичленовуючи як вербальні засоби створення трансцендентності якнайчастіше його фоносемантичні або ж стилістичні характеристики.

Так, відома пермська дослідниця І. Ю. Черепанова доходить висновку про фоносемантичну актуальність певних звукобукв, поліфонічна організація яких і створює той звуковий малюнок сугестії, що впливає на підсвідомість адресата. У роботі відзначаються найчастотніші фоносемантичні ознаки, методикою виявлення яких є розробки Л. Журавльова. Аналізується також і лексико-граматичний склад СТ [див. 19].

Н. Б. Мечковська виявила певні вербальні засоби створення магічної забарвленості:

- 1) наявність порівнянь і паралелізмів;
- 2) апеляція до споріднених зв'язків між явищам;
- 3) перелік складників об'єкта магії;
- 4) натяк на емпіричний засіб досягнення бажаної мети [9:100-102].

Наші спостереження над особливостями лексичного складу українських СТ (зanalізовано близько 200 текстів) із застосуванням методик нейролінгвістичного програмування дозволяють визначити максимальну актуальність іменникової (28% від загальної кількості слів), дієслівної (19%), прикметникової (11%) та займенникової (10%) лексики, що у деяких позиціях відрізняється від даних аналізу російських замовлянь, в яких після іменниково-дієслівних комплексів зазначаються займенники, прикметники та прислівники [19:59], останні з котрих взагалі не притаманні українським сугестивним формулам і виступають майже виключно у ролі неспецифічної лексики, вживання якої у побутовому мовленні призводить до редукування інформаційної насиченості повідомлення, зумовленої дією одного з трьох процесів мовного моделювання дійсності — упушення, через яке «ми вибірково звертаємо увагу на одні закономірності нашого досвіду, вилучаючи розгляд інших» [1:3].

Найчастотнішими елементами є прислівники *тут і там*. Іменникова парадигма, використувана здебільшого для конструювання та рефреймінгу локальної рамки, теж характеризується неспецифічністю семантики (маємо *ліси, гори, море, дорогу* тощо). Ці ж факти спостерігаємо і в дієслівній процесуальності, що виявляється у складі неагентивних конструкцій, «в яких дійсний світ постає як протиставлений людським бажанням і вольовим настановам або як... незалежний від них» [3:97]. У таких моделях найчастіше маємо елементи *взялося, передалося, розходилося*, які корелюють із загальною дифузною адресацією подібних текстів — звертаннями до Бога, Пресвятої Богоматері, святих. Зазначимо також, що у дієслівній системі замовлянь частотним є вживання заперечних форм (не бувають, не боїться, не гуляти, не гуди, не знати та ін.).

Цікаво, що в методиці НЛП, спрямованій на оптимізацію спілкування, вживання заперечних конструкцій небажане, оскільки «негативні команди діють як позитивні. Підсвідомість не обробляє лінгвістичні заперечення і просто не звертає на них уваги» [13:154]. У практиці ж сугестивної комунікації маємо високий ступінь актуальності саме таких підсилювальних конструкцій, що свідчить про наявність зворотної відповідності між психоактивним та побутовим різновидами комунікації. Темпоральна репрезентація дієслів у разі негативно скерованої апеляції виявляється дисоційованою від власне подій, тобто виступає переважно у минулому часі, що корелює із положеннями сучасних психотерапевтичних методик, де подібна часова акцентуація вважається ефективним впливовим елементом, бо у такому разі «терапевт дисоціює пацієнта від відчуття тривоги та вміщує цю тривогу в минуле» [13:178], чим підсвідоме «розділяє», дистанціює людину від недугу.

На нашу думку, актуальність неспецифічної лексики та частотність універсальних квантифікаторів (йдеться про займенники *весь, всякий, кожний*, ін.) як елементів процесу генералізації та упушення свідчать про їх загальну сугестивну маркованість і дозволяють вважати подібні вербальні елементи лінгвістичними відповідниками феномену якорів у стратегії НЛП, де цей термін розуміється як «стимул, пов'язаний із фізіологічним станом...» [13:78], як «все, що викликає емоційний стан» [13:79] і зумовлює, таким чином, усталеність (особистісну, а в разі повторюваних віками текстів — і генетичну) глибинних психо-емоційних реакцій індивіда.

Кінцеві лімінальні зони СТ орієнтовані або на абстрагований «замок», який «замикає» душі злих духів доступ до хворого, охороняючи його від впливу темних сил» [16:97], або на віртуальне місце «телекінетичного транспортування» негативних сил, яке виявляється у трьох ступенях абстрагування:

а) найвищим рівнем локальної дифузності, що досягається сюжетним «віддзеркалюванням» «згинь-пропади, де взялось — туди собі й іди» [17:32];

б) невизначеністю конкретної топографії через вживання неспецифічної іменникової лексики: це очерета і (торф'яні, гнилі) болота, (сухі, дикі, пусті, темні) ліси і (гнилі) колоди, круті береги (гори), жовті піски, камінні озера, бездни, взагалі пусті місця, де «курячий голос не доходить» [17:20], «пташки не літають, де чоловічі ноги не ступають» [17:24], «де парубок дров не рубає» [17:35], «де дівка коси не чеше» [17:35];

в) топонімічною конкретизацією: «Пречиста Божа Мати, поможи мені помовки виганяти, на Осіянські гори...» [17:25], «Вимовляла я й виговоряла, на Сіянські гори посилала» [17:31], яка не є частотною через семантичну конкретність, що, на нашу думку, суперечить загальній комунікативній настанові сугестивного спілкування, а саме — максимальній «розгалуженості» локального фону.

Узагальнюючи, можна твердити, що

1) сугестивні тексти та універсальні автотексти як їх комунікативні різновиди є актуальною сферою вербального спілкування, заснованій на високому рівні психоактивності його елементів;

2) глибинна психологічна маркованість подібних лінгвістичних конструктів та невалідність усталених методів аналізу зумовлюють доцільність використання методологічних стратегій НЛП;

3) результати застосування зазначених моделей підтверджують їх релевантність і дозволяють характеризувати подібні сугестивні тексти як вербальні комплекси з дифузною семантикою, що орієнтовані на досягнення адресантом комунікації певного рівня даунтайму як «доступу до безсвідомих ресурсів» [13:144] з метою зміни його психологічної структури через використання сугестивно маркованих вербально-оказіональних комплексів;

4) актуальними лінгвістичними маркерами виступають певні елементи мовлення, лексико-граматична ідентифікація яких є можливою через використання відповідних методик нейролінгвістичного програмування.

1. Бэндлер Р., Гриндер Д. Структура магии. — СПб, 1996.
2. Бэндлер Р., Гриндер Д. Шаблоны гипнотических техник Милтона Эриксона с точки зрения НЛП. — Симферополь, 1998.
3. Вежбицка А. Язык. Культура. Познание. — М., 1997.
4. Давидюк В. Первісна міфологія українського фольклору. — Луцьк, 1997.
5. Дзячук Н. В. Психотехники. Психические технологии. — М., 1996.
6. Зарецкая Е. Н. Риторика. Теория и практика речевой коммуникации. — М., 1998.
7. Крижанская Ю. С., Третьяков В. П. Грамматика общения. — М., 1999.
8. Леонтьев А. А. Основы психолингвистики. — М., 1999.
9. Мечковская Н. Б. Язык и религия. — М., 1998.
10. Мужикская Т. Время НЛП в России // Вестник НЛП. Современная практическая психология. — М., 1999. — Вып. 1.
11. Новикова М. Прасвіт українських замовлянь // Українські замовляння. — К, 1993.
12. Овчаренко С. В. Інформаційність жанру. — Одеса, 1998.
13. О'Коннор Дж., Сеймор Дж. Введение в НЛП. — Челябинск, 1997.
14. Поршнев Б. Ф. Контрсуггестия и история // История и психология. — М., 1971.
15. Почепцов Г. Г. Элементы теории коммуникации. — Ровно, 1999.
16. Семенова А. Исцеление словом. — СПб., 1998.
17. Словесна магія українців. — К., 1998.
18. Цветков Э. Психономика или программируемый человек. — СПб, 1998.
19. Черепанова И. Ю. Дом колдуньи. Суггестивная лингвистика. — СПб., 1996.
20. Хайдеггер М. Путь к языку // Хайдеггер М. Время и бытие. — М., 1993.

Лінгвосоціум: до розбудови термінологічного апарату лінгвістичної екології

Лінгвістика — велика обсягом наука про мову, яка включає цілий ряд розділів, аспектів, спрямувань відповідно до багатомірного об'єкта, яким є мова. Кожна галузь лінгвістики має свій термінологічний апарат, що на правах підсистеми входить до загальної системи лінгвістичних термінів і групується навколо одного центрального терміна (рідше кількох). Для мовознавства взагалі центральними термінами є *мова* і *мовлення*, для морфології — частина мови, для функціональної граматики — функціонально-семантичне поле, для діалектології — поняття діалекту і т.д.

Нова галузь лінгвістики — лінгвістична екологія, що перебуває у процесі становлення, лише намагається створити власний термінологічний апарат, без чого неможливий її подальший розвиток. Виділяють три етапи становлення терміносистем: 1) називання основних одиниць, виділених у складі дослідженого об'єкта; 2) відшукування нових назв для усунення омонімії термінів; 3) розширення кола термінів у зв'язку з найменуванням нововідкритих складових частин об'єкта [5:125]. Лінгвоекотологія, природно, перебуває на першій стадії формування, на самому його початку, коли одним із найважливіших завдань є окреслення ядра майбутньої терміносистеми.

Предметом дослідження лінгвоекотології є взаємодія мови і суспільства, а метою — досягнення гармонії в такій взаємодії. Екологічна спрямованість лінгвоекотології полягає в тому, що вона покликана встановити сегменти деградації мови і мовлення й опрацювати методику їх реабілітації. При цьому деградація розуміється як поступове погіршення, занепад, втрата властивостей і функцій мови. Поняття деградації мови тісно пов'язане з питаннями розвитку мови взагалі, причинності мовних змін, характеру причин мовних змін. мова як біопсихосоціальне явище розвивається внаслідок дії як внутрішніх, так і зовнішніх причин, причому за спонтанного розвитку не може йтися про деградацію мовної системи та деградацію її реалізації в мовленні. Момент деградації з'являється лише за цілеспрямованого тиску з боку, як кажуть, іншої мови, що зумовлює звуження сфери її функціонування, деструкцію самої системи через проникнення багатьох елементів чужої мови і, врешті, через піджинізацію та креолізацію до повного занепаду. Цей “мовний тиск” зумовлений конкретними суспільно-політичними причинами, а тому є суто зовнішнім.

Чи коректно в такому разі говорити просто про вплив однієї мови на іншу? Так, коректно, але тільки з погляду власне структурної лінгвістики, яка займається “мовою в собі” безвідносно до екстралінгвальної дійсності. З погляду ж лінгвоекотолога, що вивчає взаємодію мови і суспільства, слід доконечне брати до уваги і позамовні чинники, а тому вищенаведене висловлення буде некоректним. Коректне висловлення лінгвоекотолога повинно містити як поняття мовного, так і поняття позамовного впливу, викликаного суспільно-політичними причинами. Висловлення про вплив суспільства на мову буде недостатнім, не відбиваючи суті всього явища, адже в даному разі, по-перше, йдеться про суспільство, яке розмовляє іншою мовою, а по-друге, це суспільство впливає на чужу мову через свою рідну. Наочно видно незручність використання двох понять для опису цієї соціолінгвістичної ситуації. Отож бажано, щоб ці два поняття (мова і суспільство) сполучалися в одному терміні. Позаяк процес мовної деградації є пріоритетним для вивчення в лінгвоекотології, то термін цей, по суті має бути центральним для цієї галузі лінгвістики, становити її ядро.

На нашу думку, таким ядром для лінгвоекотології є поняття *лінгвосоціуму*. Воно передбачає розгляд конкретної мови і суспільства як єдиного цілого, це відносно цілісна суспільна система, утворена мовцями не тільки як особами, здатними говорити, а в ширшому розумінні, як продуктами індивідної взаємодії у процесі їх спільної практичної та духовної діяльності. Тому складовими ознаками лінгвосоціуму є: 1) мовна самосвідомість — усвідомлення іманентності, окремішності своєї мови, мовний патріотизм; 2) національна самосвідомість — усвідомлення іманентності, окремішності, самоцінності нації; 3) менталітет — особливий спосіб мислення, світобачення, властивий даній нації, як своєрідний вияв національної психології; 4) національна гідність — власне патріотизм, шанування своєї нації, гордість за неї; 5) духовність — національні ідеї, цілі, ідеали, моральні цінності, віра, найвищим вираженням яких є Істина, Добро,

Краса [3:532-533]. Якщо вдатися до певного редукціонізму і сказати стисло, — це суспільство, яке розмовляє однією мовою, причому це може бути і національна мова, і мова народності, і літературно-писемна, і безписемна; поняття лінгвосоціуму включає в себе всі форми існування мови. І, звісно, йдеться не про суспільство монологів, що утворюють єдину державу, не суспільний компонент превалює у понятті лінгвосоціуму, і не суспільство об'єднує монологів, а навпаки, лінгвосоціум — результат об'єднавчої здатності мови. Тому, наприклад, в одній державі існує завжди одне суспільство, але можуть існувати кілька лінгвосоціумів. За прикладами далеко ходити не потрібно: в Україні, де вже, власне, практично завершується формування єдиного громадянського суспільства, існують два лінгвосоціуми — український і російський. Лінгвосоціумом може бути не кожна сукупність, а лише стабільна сукупність мовців з регулярною індивідною взаємодією, з розподілом соціальних функцій і т.ін. Таким чином, коректним висловленням лінгвоеколога буде висловлення про вплив одного лінгвосоціуму на інший.

Для розуміння центрального поняття лінгвоекології слід розмежувати його з такими поняттями як нація і етнос. Переважна більшість провідних вчених (Ф. Майнеке, К. Дойч, Х. Ортега-і-Гассет, Е. Геллнер, С. Дністрянський, В. Липинський, С. Шелухін та ін.) розуміють націю як політизований етнос [6:13-17], що дає підстави вважати мовний і етнічний компоненти другорядними поряд із домінантним державно-політичним, тоді як для поняття лінгвосоціуму пріоритетним є мовний компонент. З цього випливає, що одна нація може складатися як із одного, так і з кількох лінгвосоціумів.

Етнос же — поняття не громадянсько-політичне, а біосоціальне, що включає расові, культурні, психологічні, історичні, географічні і т.ін. ідентитети [4:87,89,106]. Мова входить до семіотичного ідентитету, але абсолютного зв'язку мови та етносу не спостерігаємо. Ми визнаємо існування різних типів етносів за етноутворюючими ознаками. Для одних етносів є визначальними семіотичні чинники, для інших — культурноціннісні, расові і т.д. або їх сукупність у різних варіантах [1;2]. За умови визначальності мовного ідентитету втрата мови зумовлює втрату даної етнічності і перехід до іншої, що можливе, як правило, лише за умови близькості родності етносів. Якби цей процес був стрибкоподібним, тоді б поняття лінгвосоціуму збігалось з поняттям етносу. Однак перебіг втрати мови та етнічності тривалий і складається з ряду проміжних етапів, наприклад, мовець не володіє мовою свого етносу, але ще має рідну етнічну самосвідомість. Отже, поняття лінгвосоціуму та етносу не тотожні, по-перше, тому, що для етносу можуть бути визначальними несеміотичні (немовні) ідентитети, по-друге, через те що представники того самого етносу можуть бути різномовними.

Обговорюване центральне поняття лінгвоекології можна було б номінувати і рідномовними складеними термінами на зразок *мовне суспільство* чи *мовна спільнота (спільність)*. Останній термін мало придатний через неоднозначність другого складника, що за тлумачним “Словником української мови” має три значення, серед яких релевантне займає третю позицію: 1) загальні риси, притаманні кожному з порівнюваних явищ; 2) нерозривний зв'язок, єдність; 3) об'єднання людей, згуртованих спільними умовами життя, метою, інтересами. Термін “мовне суспільство” менш привабливий через свою двокомпонентність, що робить незграбними, а подекуди і неможливими похідні утворення.

Тепер перейдемо до питання структурування поняття лінгвосоціуму. Відповідно до того, як суспільство поділяють на менші одиниці за тереновим та діяльнісним чинниками (людські спільноти та колективи різного плану), а також відповідно до поділу національної мови на теренові та соціальні різновиди (не забуваймо, що треба враховувати обидва компоненти) лінгвосоціуми варто розрізняти за ступенем ускладненості. За цією кількісною ознакою виділяємо 1) *мікролінгвосоціуми*, що об'єднують порівняно невелику сукупність людей, наприклад, одномовний колектив (чи одномовна частина багатомовного колективу) державної установи чи якогось господарчого закладу, якими можуть бути завод, фабрика, сільгосподарське підприємство, факультет у вузі, педколектив школи, колектив працівників банку і т.ін., сюди ж віднесемо і одномовних мешканців невеликих населених пунктів (село, селище, невелике місто); 2) *мезолінгвосоціуми*, що об'єднують велику сукупність людей і складаються з багатьох мікролінгвосоціумів; ними можуть бути одномовні мешканці крупного населеного пункту (крупні і середні за величиною міста), регіону (район, область тощо); 3) *макролінгвосоціуми*, що слід розглядати як сукупність одномовних мешканців, як правило, у масштабі країни, рідше, кількох країн, які складаються з багатьох мезолінгвосоціумів.

Для вивчення якісної структури лінгвосоціуму беруть до уваги склад мовців за різними ознаками переважно демографічного характеру — національними, віковими, фаховими, соціальними, статевими, освітніми та ін., а також встановлюють співвідношення між вказаними групами мовців. Для мікросоціумів, меншою мірою мезосоціумів, важливо також з'ясовувати більш часткові характеристики, такі як співвідношення соціолінгвоситуацій для використання української чи російської мов на роботі, вдома, в офіційному листуванні та діловодстві, в технічній документації співвідношення передплати україномовних та російськомовних газет та журналів, перегляду телепрограм, прослуховування радіопередач і т.ін.

За структурою лінгвосоціуми неоднорідні, а тому в них доцільно виділяти ядро, напівмаргінальну і маргінальну зони. Ядро лінгвосоціуму визначається найтиповішими мовцями з наймаксимальнішим функціональним навантаженням даної мови, яка для мовців є рідною, причому такі мовці або взагалі є монологістами, або білінгвами (полілінгвами) з обмеженим використанням другої (чужої) мови чи інших кількох мов, тобто ступінь перемикавання мовного коду незначний, враховується також ступінь чистоти мововжитку (відсутність/наявність диглосії) та ін. Попередньо можна твердити, що для українського лінгвосоціуму його ядром є Західна Україна. Напівмаргінальна зона характеризується менш типовими мовцями з середнім функціональним навантаженням даної мови, яка для мовців є рідною, але поруч із нею вони досить активно послуговуються другою мовою. До напівмаргіналів слід віднести і мовців, для яких українська мова є нерідною, однак вони досить жваво її використовують. Ступінь диглосії слабкий або середній. Це переважно мовці середніх і частково великих міст Центральної України. Для маргінальної зони лінгвосоціуму властиве невелике функціональне навантаження даної мови, яка може бути як рідною, так і чужою для мовця, діапазон ступеня диглосії може коливатися від слабкого до значного. До маргіналів українського лінгвосоціуму належать, за попередньою оцінкою, мовці великих та середніх міст Півдня і Сходу України, що користуються українською мовою, як правило, в межах своїх мікросоціумів. До маргіналів слід віднести також мову діаспори.

Ядро, напівмаргінальну та маргінальну зони можна встановлювати і в межах окремих мезолінгвосоціумів чи мікролінгвосоціумів.

Як видно, поняття лінгвосоціуму досить легко структурується на більш часткові поняття, створюючи навколо себе цілу терміносистему, чи термінологічну підсистему, що сприяє ефективному дослідженню лінгвоекотических проблем. Цим самим центральний термін вже деякою мірою визначає проблематику лінгвістичної екології. Оскільки лінгвосоціум являє собою систему (хоч і в іншому розумінні, ніж системність мови), можна, знаючи загальносистемні параметри [див. 7:245-276], насамперед релевантні параметри для лінгвосоціуму як системи, встановити структуру й субстрат цієї системи, окресливши, таким чином, найголовніші аспекти її дослідження.

Так, субстратом лінгвосоціуму як системи є конкретні мовці, отже, постають питання вивчення місця даного лінгвосоціуму в загальному ареалі, наприклад, місце мікролінгвосоціуму в мезолінгвосоціумному ареалі, або місце мезолінгвосоціуму в макролінгвосоціумному ареалі, або, врешті, місце макролінгвосоціуму серед арсгалів інших макролінгвосоціумів. Це ареальне вивчення лінгвосоціуму, так би мовити, знизу, від часткових систем до менш часткових. Крім того, вивчати можна ареал цього субстрату і, так би мовити, згори, визначаючи, що являє собою ареал даного лінгвосоціуму.

Для з'ясування характеристик системи за субстратом слід дослідити також дистрибуцію лінгвосоціуму, його авторегенеративність, гомогенність, відкритість, його взаємодію з іншими лінгвосоціумами тощо. Вивчення дистрибуції лінгвосоціуму передбачає встановлення відносності його якісної структури, або складу його мовців за різноманітними релевантними параметрами, про що вже йшлося вище. Адже той самий мовець, що за однієї соціолінгвістичної ситуації входить до одного лінгвосоціуму, за іншої ситуації може входити до іншого лінгвосоціуму, незважаючи на те, якою мовою є його рідна. Щоправда, це не означає повне нехтування параметром рідномовності, в такому разі він враховується при визначенні ядерності/маргінальності білінгва у тому чи іншому лінгвосоціумі. Вивчення авторегенеративності за субстратом передбачає врахування як міграцій взагалі, так і лінгвосоціумних міграцій, а також народжуваності і смертності. Вивчення гомогенності/гетерогенності лінгвосоціуму провадиться на підставі даних його дистрибуції із встановленням ступеня та діапазону розкиду різних якісних ознак,

притаманних мовцям даного лінгвосоціуму. Ступінь відкритості лінгвосоціуму визначається за поповненням і зміною його конкретними мовцями.

Важливим моментом є вивчення взаємодії кількох лінгвосоціумів, як правило, одного рівня складності системи: взаємодії мікролінгвосоціумів між собою, окремо взаємодії мезолінгвосоціумів, окремо взаємодії макролінгвосоціумів між собою, хоч у деяких випадках можливе вивчення взаємодії систем різного рівня складності. Взаємодія лінгвосоціумів породжує цілий ряд нових термінів, про які ми не маємо змоги вести мову в невеликій за обсягом статті.

Для з'ясування характеристик системи за структурою фокус дослідження слід перемістити на такі поняття як стабільність лінгвосоціуму, тобто ступінь його мінливості у часі щодо різних параметрів, стійкість лінгвосоціуму, тобто ступінь його опірності зовнішнім впливам, впливам інших лінгвосоціумів. Сюди ж віднесемо і регенеративність та авторегенеративність за структурою, під якими розуміють спроможність лінгвосоціуму відновити свої деградовані мовні функції внаслідок планових заходів чи спонтанно.

Таким чином, основним терміном лінгвістичної екології, який найбільше відбиває її сутність і значною мірою вже визначає її проблематику, слід визнати поняття лінгвосоціуму. Термін "лінгвосоціум" добре влітається також у систему інших термінів мовознавства, а також інших взаємопов'язаних наук. Він здатний стати відправним пунктом, підставою для окреслення інших термінів та понять лінгвоекології.

1. Бондар О. І. Мова як визначальний етноутворюючий чинник українського етносу // Рідна мова — запорука безсмертя нації: М-ли Міжнарод. наук.-практ. конф. (Одеса, 20-23 жовтня 1998 р.). — К., 1999.
2. Бондар О. І. Мова як визначальний етноутворюючий чинник у зв'язку з соціолінгвістичною ситуацією на Півдні України // Четвертий міжнародний конгрес українців: Південь України. Одеса: Доп. та пов. — Одеса, 1999.
3. Горак Г. І. Духовні основи суспільного буття // Філософія: Курс лекцій. — К., 1994.
4. Кресіна І. О. Українська національна свідомість і сучасні політичні процеси (Етнополітологічний аналіз). — К., 1998.
5. Німчук В. В. Термінологічна система як результат пізнаності об'єкта // Марксистсько-ленінська методологія вивчення лінгвістичних об'єктів. — К., 1983.
6. Основи етнодержавознавства: Підручник для студентів гуманітарних спеціальностей вищих закладів освіти. — К., 1997.
7. Уемов А. И. Системный подход и общая теория систем. — М., 1978.

УДК 811.1'373.21

Ю. О. Карпенко

Проблема давньоєвропейської гідронімії в Українських Карпатах (I)

До фракійців у Карпатах були давньоєвропейці. Концепція давньоєвропейців, зіперта по суті виключно на гідронімії, досі залишається гіпотетичною і нерідко ставиться під сумнів, хоч розробляється з довоєнних часів. Однак роботи Г. Крає, В. Шміда та інших учених показали, що від Атлантики до Карпат (у пізніших дослідженнях — до Дону) і від Англії та Скандинавії до Апенін та Балкан явно виділяється потужний гідронімічний шар, який фіксує час, коли древні європейці уже розселилися по Європі, але ще зберігали мовну єдність або мали лише назначну діалектну розбіжність. Цю концепцію стисло й змістовно описав Генрик Борек — відомий польський ономаст [21:331-351].

Давні європейці, отже, не можна адресувати певній конкретній мові — це праєвропейські гідронімії. Їх ознаками є етимологічна непрозорість і наявність на різних (не менш трьох) етнічних територіях. До давньоєвропейських, на думку В. Шміда, належать 2-3% усіх гідронімів [21:342]. І оскільки методика їх виокремлення розроблена досить добре, укладено списки можливих коренів (одноморфемних баз), можливих суфіксів, то пошуки гідронімічних давньоєвропейців стали реальною, хоч і дуже складною справою. Інша річ — вірогідність таких пошуків.

Адже у кожному гідронімі можливе якесь омонімічне явище, вторинне утворення від дійсно давньоєвропейського гідронімічного терміна, елементарне перенесення, міграція назви. Досить сказати, що й давні форми гідронімів **Прут** та **Дністер** (Tугас) теж відносять до давніх європеїзмів [21:340], хоч вони мають явно пізнішу генезу. Концепція давньоєвропеїзмів фактично зводиться до цілком реальної ситуації: існує чимало гідронімів, які з очевидністю мають індоєвропейську етимологію, але ніяк не можуть бути пов'язані з якоюсь конкретно індоєвропейською мовою. Характерно в цьому відношенні, що Лешек Беднарчук, обзиваючи давньоєвропеїзми "так званими" [20:20,22], усе ж зараховує до них мало не половину аналізованих ним гідронімів, у тім числі, разом з Ю. Удольфом [28:618,635], **Серет** та **Стрий**, які доцільніше тлумачити як фракізми [8:10-13].

Досить аргументовано до карпатських давньоєвропеїзмів І. Железняк зарахувала гідроніми **Бутля**, **Бутівля**, **Бутельський** (усі в басейні Стрия) та назву закарпатської річки **Салва** [6:134-139,142]. Назви Бутівля та Бутельський О. Трубачов відніс, з певним застереженням, до іллірійських [16:193], а назва Бутля просто залишилася йому невідомою, бо її не зафіксував П. Маштаков. Однак І. Железняк, використавши літературу питання та вказавши на балтійські, фракійські й кельтські паралелі, пов'язала цю гідронімну групу разом з назвою **Бутеня**, що стосується басейну Росі та є об'єктом безпосереднього вивчення дослідниці, з іє. коренем *bu-, *bhu- *пущити, розбухати* (той самий корінь в укр. бути, але в гідронімах йдеться про здатність річок розливатися) і віднесла її до давньоєвропейського шару.

В. Шульгач у ґрунтовній розвідці "Основа *but в гідронімії України" [18] розвів три розглянуті карпатські гідроніми поміж різними генетичними групами, але всі визнав за слов'янські, що зрештою цей учений робить з усіма аналізованими ним назвами. Ю. Удольф теж кваліфікував ці назви як слов'янські, але вже узагальнив їх в основі *bot-, а не *but-, пор. з чергуванням o - a: Батіг [28:606-607]. Щодо цієї різноголосності можемо сказати, що тлумачення гідронімів - важка справа, а прийняті етимології слід розуміти як імовірності, а не остаточні істини... Втім, у пізніших працях Ю. Удольф, обстеживши, як завжди, величезний дотичний матеріал, у т.ч. зі специфічними германськими фонетичними змінами, усе ж схиляється до давньоєвропейської кваліфікації карпатських гідронімів Бутля та ін., визнаючи корінь *bat- індоєвропейським, а форму *bot- його слов'янським продовженням [29:222-226; 30:92-94]. При цьому вчений небезпідставно розширює цей гідронімійний ряд, серед іншого, карпатськими назвами **Батячка**, **Батючка** — доплив Західного Бугу на Львівщині, **Батина** — у басейні Пруту на Буковині [12:35] та ін.

Що торкається допливу Боржави **Салви**, з варіантами **Сальва**, **Солва**, **Салба**, **Сальба**, **Селда**, то ця назва має виділену ще Г. Крає базу *sal- *потік, течія* [21:335], наявну в гідронімії Німеччини, Франції, Англії, Угорщини, Прибалтики. І. Железняк наводить численні паралелі з української, російської, польської, хорватської гідронімії тощо. У Литві є й структурно тотожна р. Salva. Включення цього гідроніма до давньоєвропейського шару сумнівів викликати не має. Втім, О. Стрижак у дещо двозначному контексті зараховує цей гідронім чи то до кельтських, чи то до слов'янських [14:275].

Так само безперечним давньоєвропеїзмом є гідронім **Солючка**, у джерелах ще **Солучка**, що належить басейнові Дністра у Старосамбірському р-ні на Львівщині [12:520]. Назва має той самий древній корінь, що й Салва, і добре збережену давньоєвропейську структуру *Salantia, яка у слов'ян закономірно розвинулася як Солучка [16:131-132; 28:635].

М'якшення *л'* з'явилося в українській мові внаслідок зближення зі словом **сінь**, пор. розташоване неподалік село **Стара Сіль**, яке теж, можливо, вказує не на **сінь**, а є давньоєвропейським гідронімійним реліктом. Та сама вихідна форма *Salantia дала французький гідронім Salanze [21:335]. Втім, С. Вербич усе ж уважає Солючку генетично слов'янським гідронімом, похідним від **сінь** [3:12-13]. Але бачити тут активний дієприкметник семантично невиправдано. На відміну від гідронімів **Вонючка**, **Родюча** тут процес мав би бути пасивним, пор. численні **Солоні**, **Солончаки** тощо. Віддаючи належне глибині наукового аналізу у працях С. Вербича (як і його старшого колеги В. Шульгача), мушу констатувати, що він слов'янський компонент досліджуваної гідронімії перебільшує, роблячи його єдиним. Теоретично немислимою є ситуація, коли геть усі гідроніми будь-якого досліджуваного регіону визнаються виключно слов'янськими.

Хорошим кандидатом у давні європеїзми є гідронім **Лаборець** у Словаччині, що зливається з Латорицею. О. Стрижак упевнено кваліфікує цей гідронім як кельтський [13:81], а К. Галас [4:62] і з іншою мотивацією В. Шульгач [19:61] — як слов'янський. Проте в назві масмо, можна

сказати, класичну давньоєвропейську базу *albh- білий, яка зазнала давньослов'янської перебудови за законом відкритих складів у *lab-, що засвідчує її древність [25:170; 20:25]. Пор. де. *Alba > нім. Elbe, але пол. Łaba. Гідроніми з цією базою наявні в усій Європі, а в Іспанії є й структурний відповідник *Albora > Albuera [21:335]. Слов'яни, крім фонетичної перебудови назви, додали до неї суфікс *-ещь*. Матеріали Ю. Удольфа дозволяють долучити сюди ще й галицький гідронім Лабина [31:50-51], відсутній у СГУ.

Можливим давньоєвропейзмом є гідронім **Опака** на Дрогобичині (й аналогічний у басейні горішньої Вісли у Польщі) й **Опатний** на Косівщині [12:399]. Першу з цих назв О. Трубаčov називає "недосить ясною" [16:261], а другу С.Грабець зараховує до темних [23:121]. Але М.Рудницький зводив назву Опака до іє. *ap- вода, ріка, що є одною з найпоширеніших баз давньоєвропейських гідронімів. У назві дещо засмучує кінцеве *-ака*, але саме воно й наштотує О. Трубачова на думку, що перед нами дійсно давній європейзм [16:87-88, пор. 28:632-633]. Гідронім тієї ж бази Опатний має яснішу структуру Оп-ат-н-ий, де суфікс *-ат-* є дослов'янським і добре зіставляється з давнім Пор-ат-а й Карп-ат-и, що кваліфікуються нами як фракізми. Однозначно давньоєвропейською назву Опатий вважає Ю. Удольф [31:48]. С.Вербич пов'язує гідронім Опака з поширеним у слов'ян терміном опока (джерельний сенс — *ванняк*, від якого і *скеля*, і *біла глина*, й ін.) з не дуже певними вказівками на чергування *а - о* та етимологією *o(b)roka > *o(b)pekti [2:62-63].

Взагалі, у Карпатах давні європейзми пов'язані з фракізмами, що бачимо хоча б на прикладі назви **Сян** [8:18]. Тут маємо справу або з безпосередніми нашаруваннями саме фракійської гідронімічної системи на давньоєвропейську, або навіть і занесення європейзмів фракійцями. Втім, можливі й варіанти подвійної інтерпретації. Адже гідронім **Опір**, розглянутий нами [8:14] як фракійський (О-пір), треба, можливо, членувати інакше: Оп-ір. У цьому разі його слід розуміти як давньоєвропейське утворення з тою самою базою *ap і теж давньоєвропейським суфіксом — *ор*, наявним у гідронімах Лаборець і Латориця. Саме давньоєвропейським вважає гідронім Опір Ю. Удольф [28:617-618, 635] та, разом з розглянутою вище назвою Опака й притокою Одеру у Польщі Опавою, В. Шмід, який наводить структурно тотожний балтійський гідронім Арага [27:65]. Дзвінкий варіант того самого **кореня** Ю.Удольф слушно вбачає й у гідронімі **Обава** [28:632], назві ріки басейну Тиси на Закарпатті [12:392].

Давньоєвропейська база *ol *тексти* досить прозоро збереглася в назві невеликого потоку **Олейка**, басейн Лабірця у Закарпатті [12:396]. Ця назва має повну паралель у Прибалтиці: *Alia > лит. Alėja [21:334]. Слов'янським тут є лише кінцевий суфікс *-ка*. Гідронім Олейка можна було б уважати й чисто слов'янським, пор. лити чи олія (західне запозичення того ж, зрештою, кореня) тощо. Однак жодна із слов'янських інтерпретацій назви не пояснює всіх її фонетичних особливостей. Ю.Удольф адресує тій самій давньоєвропейській базі й гідронім Латориця, який ми відесли до фракійських [8:16-17]. На доказ учений наводить серію гідронімів з формантом *-t* з різних територій Європи: Altanum, Altinum тощо [31:46-47]. Не виключено, що той самий де. корінь *ol- з давньоєвропейським же формантом *-s* відбитий гідронімами **Лосова** та **Лостун** у гірській частині Буковини [12:327; інакше — 7:148, 149]. Широкий порівняльний матеріал до гідронімічної групи *Als-/*Ols- навів Ю. Удольф [31:48-49].

Складніше справа обстоїть з назвою **Лімна** (Турківський р-н Львівщини) та комплексом **Лімниця** (три річки) й **Лімниця-Розтічня**, що увесь розташований на порівняно невеликому відтинку від Стрия до Городенки й належить правобічному басейнові Дністра [12:319]. Назви ці легко інтерпретуються на українському ґрунті, що й чинять їх дослідники. Тече швидка річка, *ломить* береги, *проламає* скелі, тому й так називається. Так, Я. Рудницький [11:42] пов'язує одну з Лімниць з укр. *лім лом*, з посиланням на Ф. Міклошича та В. Шмілауера.

Але чому всі наявні в Україні Лімниці зосередилися в невеличкому ареалі горішнього Дністра? І чому тут з'являється суфікс *-н* < *-ьн*, коли доречніше чекати *-ов*, пор. Ломовець у Закарпатті [1:63], відсутній, до речі, у СГУ? Ці обставини дозволяють вбачати в даній групі назв глибоко слов'янізовані давньоєвропейзми. Йдеться про ту саму базу *ol з де. структурою *Almos, що називає дві притоки Дунаю, болг Лом [21:334]. В.Георгієв виводить цей гідронім Лом, давніша форма якого Алмос свідчить з VI ст., з фракійської мови [5:262], що ще раз нагадує нам про зв'язок давньоєвропейців та фракійців у Карпатах. Дністровські Лімниці зазнали тої самої метатези й долучили слов'янський прикметниковий суфікс *-ьн*, який спричинився, після занепаду редукованого *ь*, до переходу *о > і*. Зазначимо, що Я. Рудницький зафіксував за джерелами гідронім Лімниця також у формах Ломна та Ломнич. Слов'янізація де. назви завершилася долу-

ченням суфікса -иця. Додамо, що В.Топоров та О.Трубачов зводять верхньодніпровські гідроніми Ломна (4 річки) та Ломня, звичайно, до балтійських джерел [15:193]. Однак ширший контекст цих назв робить їх де. інтерпретацію привабливішою.

Аналогічне “чому” викликають і гідроніми типу **Раковець**. Їх і загальноприйняте, і, здавалося б, очевидне пояснення *потік, де водяться раки* [7:173] не відповідає на запитання, чому всі 7 буковинських Раківців зосереджені на заході краю, чому всі 17 засвідчених СГУ [12:456-457] таких гідронімів стосуються Карпат і Прикарпаття. Там же й дві Раковиці, до яких треба долучити й третю — форму Раковиці, що її СГУ подає у множині, але то — наслідок карпатського фонетичного процесу, піднесення *a > i* після м'якого приголосного. І ясно, гідронім Раковиці (генетично — однина) — то ніяка не Раковице, як цю форму спотворено передає за польськими джерелами П. Маштаків.

В. Шульгач, зібравши та розглянувши українську, а почасти й слов'янську “ракову” гідронімію, дійшов досить вірогідної реконструкції праслов'янського гідротерміна **гака яма, глибоке місце в річці* [17:52-53]. І можна думати, що частина “ракових” гідронімів походить від назви тварини (імовірно, усі 7 гідронімів Раківка, стосовних переважно Дніпра), а друга — від гідротерміна **гака* (*Рача* в басейні Стиру). На цих двох рівнях ідеться про українське (Раківка) та праслов'янське (Рача) словотворення.

Але навряд чи справа обмежується двома названими рівнями. Раковець, можливо, ближчий до Лабірця, а Раковиця — до Лімниці й Латориці, ніж до Раківки й Рачі. Словотвірні специфіка, й головне, скупченість “ракових” гідронімів у крапатському регіоні — пор. серед словотвірної специфічних, хоч і неоднозначних гідронімів цього ареалу ще *Ракум* і *Ракош* у Закарпатті [12:457] — дозволяє бачити тут фракійську [пор. 17:53, прим.17], якщо не де. древність. У де. гідронімії арсенал входив і корінь **er/*og рухатись, текти*, і суфікс **-k* [21:335-336], що у поєднанні давало **ork-* > д-рус. **rak-*, звідки й реконструйований В.Шульгачем гідротермін, і (безпосередньо!) карпатські Раківці та Раковиці, які зазнали пізнішої стандартної слов'янізації.

Можливо, та сама де. база наявна і в гідронімі *Рата*, що знаходиться у Львівській області порівняно недалеко від карпатського регіону й належить басейнові Західного Бугу, а також у назві *Раточина*, що містить ту саму гідронімну основу зі слов'янською розбудовою. Раточина, притока Тисьмениці, знаходиться теж у Львівській області, але вже належить бесейнові Дністра безпосередньо в районі Прикарпаття [12:457]. Йдеться про перебудову де. **Arta* [21:336] в укр. *Рата*, теж з акутовою інтонацією. До речі, акутова рефлексія подібних фонетичних структур у Карпатах панує. Циркумфлексну інтонацію, з утратою довготи ініціального дифтонгічного сполучення, маємо лише у випадку Лімниці < Ломьниці. І. Железняк, інтерпретуючи гідронім *Рата* як одну з назв притоки Росі та залучаючи структурно близькі дніпровські гідроніми *Ратка*, *Ратець*, *Ратень*, *Рать*, досить доказово пов'язує цей гідрокомплекс “з кельтською мовною стихією” [6:120]. Однак давньоєвропейські його джерела видаються ймовірнішими.

На цьому фоні найвиразнішим носієм де. гідронімної бази **er/*og* виглядає назва лівого допливу Опору **Орява**, **Орава** з похідними **Орявиця**, **Орявчик**, що течуть до Оряви [12:402]. Цей гідронім разом з Оравою у Західних Карпатах (правий доплив Вагу в басейні Дунаю) визначають саме як давньоєвропейський [20:26; 28:612-613, 633]. Схожої думки, власне, дотримується й О. Трубачов: “стара назва на -ава неуточненого походження”. Однак в іншому місці він однозначно кваліфікує цю назву як іллірійську, посилаючися на гідронім *Orljava* у Славонії, колись — іллірійській території [16:50-51, 261]. Але в Румунії, на колись дакській території, маємо топоніми *Oravița*, *Orevița*, *Oreava*, *Oreavul*, явно того самого ряду, хоч й Йордан не дуже виправдано пов'язує їх зі слов. *orǫxъ* [24:84]. Тому, гадаю, доречніше говорити про фракійське, а не іллірійське посередництво в збереженні цієї де. назви.

З Оравою тісно пов'язаний топонім *Рава* — назва річки у верхів'ях Вісли у Польщі, що повторюється і в її нижній течії, де є похідні *Rawka*, *Rawica* [22:4,216], а також назва міста у Львівській обл. *Рава-Руська*. Стосунок форм *Орава* — *Рава* відповідає де. утворенням **Arava* — **Arva* [пор. 21:335]. До речі, притока Вагу *Орава* називається по-мадярськи *Arva*. О.Трубачов настійно пов'язує топонім *Рава* із словацьким гідротерміном *riava*, *rava* *потік* [16:50-51; 10:348], пор. лат. *rivus* *потік*. Ю.Удольф ставить питання ширше і на дуже великому, дбайливо зібраному матеріалі говорить про праслов'янське буття цього терміна, з яким поєднує й укр. *рив*, род. *рову*, пор. ще [9:67-68], й усі топонімічні *Рави* [28:464-467].

Виразним давньоєвропейзмом слід уважати назву правого допливу Вісли в її горішній течії **Раба**. У басейні *Раби* є й *Стара Раба*, *Нова Рава*, *Рабиско*, а також, між іншим, де. *Сава* та

Опака [22:18, 21, 22]. Сюди ж і 3 потоки **Рабинець** на Івано-Франківщині [12:455]. Віслянську Рабу, разом з тотожною назвою правого допливу Дунаю в Австрії та Угорщині, сучасне слов. Раба, нім. Raab, у Птолемея - Ραβων, Л. Беднарчук обережно залучає до давньоєвропеїзмів, посилаючися на Г.Крає [20:27]. Т. Мілевський кваліфікував її як іллірійську (іллір. ага - поле), однак М.Павлович схожу назву Rabas у власне Іллірікумі не наважується визнавати іллірійською [26:34]. Між тим Птолемей фіксує й споріднену назву Ραβων у Дакії, яку ототожнюють з сучасною річкою Жіу *живий* (тобто *бурхливий*). На цій підставі В.Георгієв пов'язує цей гідрокомплекс з іє. коренем *gabh-, д.-інд. gabhasa *бурхливий, сильний*, не даючи йому конкретнішої мовної адресації [5:257]. Засвідчені форми назви, особливо птоlemeївська та слов'янська, скоріше вказують на де. базу *er/*or. До архаїчної, але мовно не ідентифікованої топонімії відносить Раву, як, здається, і Рабу, О.Стрижак [13:84; 14:275].

До цієї ж широко представленої у Карпатах де. бази *er/*or, можливо, належить одна цікава гідронімічна група в басейні Сяну. Йдеться про гідроніми **Рада, Радавка, Радавиця** (по двічі), **Радовиця** [22:92, 94, 96, 116, 117]. Для групи цієї давно запропоновано окрему етимологію, теж де.: іє. godhos течія, пор. у Франції Рона, давніш Rhodanus, та ін. [28:633, також 30:99-100, з посиланнями на Т. Лер-Сплавінського, Г. Крає, В. Шміда, Я. Рігера]. Але чи не доречніше бачити в гідронімі Рада та похідних перебудову де. *Arda? Адже одна з двох сянських Рад приймає притоку Radla [22:92], де той самий древній суфікс набуває слов'янського осмислення, а одна з двох Радавиць — притоку Ratwica чи Ratowica [22:116], де маємо основу Rat-, уже адресовану вище де. базі *er/*or.

1. Банк М. В. Спостереження над мікрогідронімією східного Закарпаття // Питання гідроніміки. — К., 1971.
2. Вербич С. О. Гідронімія басейну Верхнього Дністра. — Рукопис: Дис. ... канд. філол. наук. — К., 1998.
3. Вербич С. О. Гідронімія басейну Верхнього Дністра: Автореф. дис. ... канд. філол. наук. — К., 1998.
4. Галас К. Й. Про назву Лаборець // Народний календар: 1991. — Ужгород, 1990.
5. Георгиев В. Исследования по сравнительно-историческому языкознанию. — М., 1958.
6. Желзник І. М. Рось і етнолінгвістичні процеси Середньонадніпрянського Правобережжя. — К., 1987.
7. Карпенко Ю. О. Топонімія Буковини. — К., 1973.
8. Карпенко Ю. О. Фракійська гідронімія Українських Карпат // Щорічні записки з українського мовознавства. — Одеса, 1998. — Вип. 5.
9. Масенко Л. Т. Гідронімія Східного Поділля. — К., 1979.
10. Никонов В. А. Краткий топонимический словарь. — М., 1966.
11. Рудницький Я. Географічні назви Бойківщини. — 2-е вид. — Вінніпег, 1962.
12. Словник гідронімів України. — К., 1979.
13. Стрижак О. С. Етнонімія Геродотової Скіфії. — К., 1988.
14. Стрижак О. С. Кельти й Україна // Наука і культура. Україна. Щорічник. — К., 1989. — Вип. 23.
15. Топоров В. Н., Трубачев О. Н. Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья. — М., 1962.
16. Трубачев О. Н. Названия рек Правобережной Украины. — М., 1968.
17. Шульгач В. П. Гідронімія басейну Стиру як джерело реконструкції деяких географічних термінів // Мовознавство-1989. — № 5.
18. Шульгач В. П. Основа *but в гідронімії України // Ономастика України першого тисячоліття нашої ери. — К., 1992.
19. Шульгач В. П. Гідронімія басейну Стиру. — К., 1993.
20. Bednarczuk L. Zagadnienie przedślowskiej hydronimii Karpat // Rocznik naukowo-dydaktyczny. — Kraków. 1973. — Zesz. 47. Prace językoznawcze, 2.
21. Borek H. Hydronimia staroeuropejska // Onomastica. — 1983. — R. 28.
22. Hydronimia Wisły/Pod red. P. Zwolinskiego. — Wrocław, etc. 1965. — Cz. 1. Wykaz nazw w układzie hydrograficznym.
23. Hrabec S. Nazwy geograficzne Huculszczyzny. — Kraków. 1950.
24. Iordan I. Toponimia românească. — București, 1963.
25. Lutterer I., Majtán M., Šrámek R. Zeměpisná jména Československa. — Praha, 1982.
26. Pavlovich M. Onomastica illyrica // Onomastica Jugoslavica. — 1969. — T. 1.
27. Schmid W. Der Begriff "Alteuropa" und die Gewässernamen in Polen // Onomastica. — 1982. — R. 27.
28. Udolph J. Studien zu slavischen Gewässernamen und Gewässerbezeichnungen. — Heidelberg, 1979.
29. Udolph J. Zur Namen der Pader // Indogermanische Forschungen. — 1980. — Bd. 85.
30. Udolph J. Ex oriente lux: Zu einigen germanische Flussnamen // Beiträge zur Namenforschung. — 1981. — Bd. 16. — H. 1.
31. Udolph J. Zur frühen Gliederung des Indogermanischen // Indogermanische Forschungen. — 1981. — Bd. 86.

Застосування кількісних методів при вивченні композитів

Для об'єктивного оцінювання закономірностей того чи іншого явища дуже важливим є вибір шляхів дослідження, способів та засобів досягнення певної мети. Це повністю стосується й конкретних завдань у вивченні словотворення. Науковим пізнанням встановлюється справжня якісна сутність мовних явищ. Якісний бік досліджуваного об'єкта нерозривно пов'язаний з його кількісною характеристикою. Кількісна сторона як філософська категорія відображає зовнішню визначеність об'єкта: його величину, число, ступінь розвитку його властивостей та ін. У цьому зв'язку дуже важливим є питання вибору кількісних оцінок, використання яких можна встановити істотну визначеність об'єкта.

Метою статті є аналіз тих способів, які доцільно застосовувати в сучасній лінгвістиці у вивченні закономірностей побудови складних слів. Це, зокрема, використання кількісного підходу паралельно із структурним.

Вчені — фізіологи й лінгвісти досить часто, крім структурного принципу, вдаються й до кількісних характеристик, коли досліджують, описують певні мовні явища, їх взаємні залежності і взаємодію. Наприклад, М. В. Арапов відзначає, що кількісні оцінки присутні практично у будь-якому дослідженні природних мов [1:3]. Описуючи конкретну мову, її дослідник обов'язково відзначає, що в певній мові розрізняються, скажімо, два числа, шість відмінків, форми з даним показником мають три значення і т.д. Не менш часто дослідники висловлюють "напівкількісні" судження приблизно такого типу: "...у даній мові багато префіксів і мало суфіксів", у досліджуваній період спостерігається тенденція до збільшення довжини слова (основи, складу, речення та ін.) [1:3]. Нерідко у лінгвістичних працях натрапляємо на підсумки трудомістких підрахунків, оформлених у вигляді таблиць і графіків, знаходимо емпіричні формули, які наближають знайдені залежності між вимірюваними елементами мови. Далі М. В. Арапов вказує, що лінгвіст, якщо він виступає як практик, обов'язково розглядає мову не тільки в якісному, але й у кількісному аспекті. Важко знайти лінгвістичну роботу, в якій взагалі не було б елементарних підрахунків. Підраховується кількість фонем у конкретній мові, кількість складів різноманітної структури, кількість способів вираження граматичних значень, певних словотвірних засобів; встановлюється кількісне співвідношення різноманітних класів слів та ін. [1:15].

У прикладній лінгвістиці на таких підрахунках ґрунтуються різноманітні евристичні процедури: виявлення ключових слів, встановлення парадигматичних і синтагматичних відношень між ними тощо. Справді, є низка понять, пов'язаних із мірою, однак немає загальновизнаного числового способу вираження цієї міри. Найчастотнішим є поняття продуктивності й регулярності. Під час опису мовних явищ використовується низка понять, які, проте, нечітко пов'язані з кількістю. У будь-якому випадку такі поняття протистоять всім спробам суто структурного аналізу. Мається на увазі маркованість, спрямування відношень похідності, межа між відсутністю знака й нульовим знаком.

М. В. Арапов вважає: якщо лінгвіст намагається відповісти на питання, який сенс мають у його спеціальності числа й слова типу "часто", "рідко", "багато", "мало" та інші, то перед ним у цьому випадку відкриваються два шляхи. Перший пропонується психолінгвістикою. Ставши на такий шлях, лінгвіст керується тим, що справжній сенс його власних обчислень відкриється йому в майбутньому, коли вже буде досягнуто певного рівня розуміння феномена людської свідомості. Можливо, що це є єдиний шлях, який веде до мети, бо, вивчаючи самі лиш тексти, ми ніколи не дізнаємося, чому в них одні слова вживаються часто, а інші - зрідка. Щоб відповісти на це запитання, треба вивчати всі факти, які можуть пролити світло на те, як побудована, наприклад, людська пам'ять. Інший шлях, який пропонується М. В. Араповим, передбачений статистичною лінгвістикою [1:16]. Така парадигма наближена до сосюрівської програми вивчення мови *per se*. Якщо під статистичною лінгвістикою розуміти не будь-яке вживання кількісних методів, а чітку систему уявлень про квантитативний бік мови, яка склалася у 60-ті роки, то лінгвістові не слід сподіватися на те, що вдасться знайти відповідь на таке питання. О. О. Леонтьєв, розгляда-

ючи предмет психолінгвістики, відзначає, що уявлення про співвідношення мови й мовлення у сучасній лінгвістиці стало загальним і доходить до (Якобсон) цілковитої тотожності одна одній таких пар: мова-мовлення, код-повідомлення [8:19]. Це ототожнення мови з кодом або ж системою кодів йде від сучасної теорії комунікації, яка надто спрощує реальну сутність процесу спілкування. Ф. де Соссюр вказує: “Мова існує у колективі у формі сукупності відбитків, що знаходяться у кожному мозку, подібно до того, як словник, примірники якого цілком тотожні, перебували б у користуванні багатьох осіб” [11:38]. У “Квантитативной лингвистике” М. В. Арапов відзначає: “Психолінгвістика вивчає ті процеси, в яких інтенції співрозмовників перетворюються у сигнали коду, прийнятого в цій культурі, і ці сигнали перетворюються в інтерпретації слухачів. Інакше кажучи, психолінгвіст має справу з процесами кодування й декодування, оскільки вони співвідносять стан повідомлень зі станом учасників комунікації [1:28].

За І. Бодуеном де Куртене, зовнішній вплив, ніби пропускаючись через мозок, є опосередкованою, системно організованою психікою людини, зокрема, системно організованою мовою мислення. Інакше кажучи, мозок — це ніби орган, що затримує й перетворює зовнішній вплив у світлі індивідуального й (через його посередництво) історичного досвіду. Це розвиток ідей фізіолога І. Сеченова, сутність яких полягає у визнанні того, що “найзагальніший характер роботи головного мозку... — це невідповідність між збудженням і викликаним ним дією-рухом” [8:27].

Досить вагомими в цьому плані є висловлювання професора М. О. Ковалевського ще в 1877 р. Він, зокрема, писав: “Вимірювальними способами боролася фізіологія з віталізмом у фізичних явищах життя організму і переборола ненаукову гіпотезу, що тільки прикривала людські пізнання. Вимірювальними способами їй судилося розсіяти пільму, яка панувала в розумінні психічних процесів. Перші промені світла в цьому темному царстві вже виблиснули. Необхідна лиш наполеглива праця - і мова чисел розкриє перед нами таємничу роботу головного мозку” [7:51].

І. Бодуен де Куртене, аналізуючи ці слова М. О. Ковалевського, писав про створення “найвищої математики”, котра “оволодіє також психічними й соціально-психічними явищами”, і далі “як тільки така математика з’явиться — настане час для справжніх законів психосоціального світу взагалі і насамперед мовного світу — законів, що гідно посідають місце поряд із законами точних наук” [3:45].

Застосування лінгвістами поряд із структурними також і кількісних методів дозволило виявити деякі закономірності в цьому процесі. Наприклад, П. Гіро [5:113] описав знайдену ним логарифмічну залежність між частотністю вживання слова та його довжиною (що фіксується, наприклад, кількістю букв або складів). Наявність аналітичної залежності підтверджено іншими авторами, зокрема, публікаціями НТІ [2:8; 6:15]. До актуальніших способів аналізу в лінгвістиці належить розкриття механізму словотворення. М. В. Арапов відзначає, що першим питанням, яке виникає у випадку використання структурного підходу у вивченні цього механізму, є таке: що це за елементарні одиниці, з яких «збирається» слово? Відповідь, яку б дала більшість лінгвістів, у цьому випадку є не досить вдалою: семантично наповнені морфеми дуже різноманітні та індивідуалізовані, щоб можна було б сподіватися визначити будь-який простий кількісний закон, якому підпорядковується довжина слова, що вимірюється кількістю морфем. Значно зручніше мати справу з такими одиницями, як склади або букви [1:114]. Спираючись саме на такий підхід, П. Менцерат встановив, що відношення довжини слова у літерах (або фонемах) до кількості складів зменшується зі зростанням довжини слова [13:9]. Г. Альтман навіть сформулював “Закон Менцерата”: “Чим довшою є мовна структура, тим коротшими є її компоненти” [12:115].

Останніми десятиліттями, в зв’язку з поширеним розвитком засобів обчислювальної техніки та прикладної математики, кількісні методи все частіше застосовуються лінгвістами як за рубежом, так і в Україні. В Німеччині, зокрема, публікується серія «Квантитативна лінгвістика». На філологічному факультеті МДУ вивчаються математичні методи в лінгвістиці. Проте впровадження математичних методів у лінгвістичну теорію породжує низку проблем. З одного боку, лінгвісти, які мають традиційну підготовку, формують свої думки про мову здебільшого в якісній формі та у формі структурного опису [1:13]. Представники цієї професійної групи іноді здатні - принаймні на рівні теоретичної рефлексії — взагалі відкидати значення квантитативного плану мови (бо, за словами М. Трубецького, “мова неспівмірна з числом”) [1:4].

З іншого боку, фахівці, які створюють системи лінгвістичного забезпечення завдань автоматичної обробки текстів (як правило, особи з фізико-математичною або технічною освітою),

схильні приписувати (іноді без достатніх підстав) особливе значення вимірювальним характеристикам мовних одиниць. У цьому плані важливо надати змогу цій групі фахівців побачити внутрішні зв'язки поміж задачами і показати, як вони співвідносяться з традиційними проблемами лінгвістики.

Поряд із виявленням структурних та кількісних закономірностей у мовознавстві і, зокрема, у словотворенні найбільш глибоким та «полемічним» залишається питання: чому в людській мові існують саме такі закономірності, а не інші? Як ці закономірності зв'язані з роботою людського мозку? Можливо, що відповідь на ці запитання знайдуть психолінгвісти, поєднавши зусилля з фізіологами, біологами, кібернетиками, математиками та представниками інших наук. Належне значення в цьому плані мають слова Л. Пастера: «Науки лише виграють, якщо використовують запозичені один в одного методи та факти. Кожний такий дотик наук завжди є кроком вперед» [4:8].

Дослідження фізіологів, особливо протягом останніх двадцяти років, дозволили певною мірою відкрити завісу «таємничості» у механізмі роботи людського мозку. Так А. А. Соколов, Я. А. Соколов, вивчаючи математичні закономірності електричних коливань мозку, досягли цікавих результатів. У процесі дослідження електроенцефалограм (ЕЕГ) мозку вони довели, що частоту хвиль ЕЕГ можна розглядати як подразник, який виконує в мозку роль сигналу й керує операціями переробки інформації [9:16].

Такий підхід узгоджується із законами Вебера-Фехнера про те, що відчуття пропорційне логарифму їх (подразника) збудження і може бути сформульованим як твердження про те, що ступінь активізації мозку представлений логарифмом частоти ЕЕГ. Цілком можливо, що наявність цих закономірностей є не випадковою. Експериментально [9:19] було встановлено існування біоритмів мозку, кожен з яких відповідає певному станові людини, характеризується діапазоном електричних коливань.

У стані розумової діяльності частота електричних коливань мозку визначається в межах 14-35 гц. При цьому домінуючою найчастіше виступає частота 22 гц, яка розподіляє такий діапазон частот у «золотій» пропорції. «Золота» пропорція була вже відома давнім грекам, згадувалась Евклідом у розв'язанні задачі про поділ відрізка у середньому та крайньому відношенні. Межі частотних діапазонів деяких біоритмів відповідають числам Фібоначчі.

Цілком природно допустити, що механізм діяльності людського мозку впливає певним чином на процес формування й розвитку мови як засобу людського мислення взагалі та появи новоутворень зокрема. Актуальним є питання про дослідження закономірностей побудови складних багатокomпонентних слів в українській мові, зокрема, складних двокомпонентних слів.

Застосування кількісного підходу до дослідження складних двокомпонентних слів вимагає одержання числових оцінок, які найбільш повно і якісно відображають характер закономірностей кожного окремого слова, дозволяють у подальшому систематизувати досліджувані слова за групами й масивами. В цьому зв'язку дуже важливим є питання вибору основного оцінювального показника, який найбільш містко створює уявлення про об'єкт дослідження.

Оскільки об'єктом дослідження слугує двокомпонентне складне слово, то доцільно розглядати його як цілісну систему, яка складається з двох підсистем: великого й малого компонентів (у загальному випадку). Як система в цілому (тобто слово), так і окремі його компоненти розбиваються на елементарні одиниці — склади. Довжина слова в цілому й довжини компонентів вимірюються кількістю складів, які до них входять. У тих випадках, коли довжини компонентів однакові (це симетричне розташування), тобто кількість складів у них є рівною, — то за довжину великого компонента приймається кількість складів у будь-якому з компонентів. За основний оцінювальний показник, який використовується при кількісному підході, вживається відношення Π (пропорція), яке визначається виразом:

$$\Pi = \frac{\text{довжина двокомпонентного слова (у складах)}}{\text{довжина великого компонента (у складах)}}$$

Оцінювання сполучувальних можливостей основ у складних двокомпонентних словах за допомогою показника Π дозволяє отримати в дослідженнях кількісні співвідношення між довжиною слова й великим компонентом, що не залежить від загальної кількості складів у слові, не залежить також і від характеру походження композита: українського або іномовного. У вивченні складних двокомпонентних слів українського походження має місце таке значення Π :

2/1 двовірш (П=2,0) 1/1	2/1 держбанк (П=2,0) 1/1	4/2 гострозубці (П=2,0) 2/2
4/2 гучномовець (П=2,0) 2/2	6/3 ідолопоклонник (П=2,0) 3/3	6/3 каменедробарка (П=2,0) 3/3

У даному разі маємо справу з так званою дихотомією (тобто з поділом навпіл), оскільки довжини складових компонентів однакові й відповідно дорівнюють одна одній: 1:1, 2:2, 3:3..... У наведених прикладах позначення співвідношень довжин компонентів міститься під словами знизу у вигляді дробів: 1/1, 2/2, 3/3, а відношення довжини слова до довжини великого компонента — зверху над словами у вигляді: 2/2, 4/2 та ін.

У нерівних довжинах компонентів зустрічаються інші значення П, наприклад:

3/2 медонос (П = 3/2 = 1,5) 2/1	5/3 льододробарка (П=5/3=1,67) 2/3	7/4 літакобудування (П=7/4=1,75) 3/4
---------------------------------------	--	--

У складних двокомпонентних словах іншомовного походження також мають місце подібні значення П:

2/1 генштаб (П=2,0) 1/1	4/2 автопоїзд (П=2,0) 2/2	6/3 аерологія (П=2,0) 3/3	3/2 біолог (П=1,5) 2/1
8/5 радіожурналістика (П=8/5=1,6) 3/5	5/3 агрокомбінат (П=5/3= 1,67) 2/3		

Аналогічна ситуація характеризує й різнооформлені двокомпонентні слова:

8/5 договір-зобов'язання (П=8/5=1,6) 3/5	4/2 гама-лазер (П=2,0) 2/2	5/3 касир-контролер (П=5/3=1,67) 2/3
--	----------------------------------	--

Навіть короткий аналіз П у розглянутій групі слів засвідчує стійку систему повторюваності отриманих значень, наприклад: $P = 2/1 = 4/2 = 6/3 = 8/4 = 2,0$; $P = 3/2 = 1,5$; $P = 5/3 = 1,67$; $P = 7/4 = 1,75$; $P = 8/5 = 1,6$.

У чисельнику й знаменнику показника П фігурують числа, які відносяться до відомих математичних числових рядів: p -чисел Фібоначчі [10:7]. Притому це проявляється незалежно від характеру походження (іншомовне чи власне українське) і виду композитів (єдино-оформлене, різнооформлене). Доцільно, насамперед, вибрати групу числових послідовностей (числових рядів), значення яких відповідали б числу одиниць (складів) в окремих компонентах і загалом у словах. Потім слід визначити значення p для кожного слова й сформувані групи з однаковими значеннями p . Знання значень p допоможе віднести сформовані групи слів до того або іншого числового ряду із притаманними йому співвідношеннями. Систематизувавши сформовані групи слів за належністю їх до вибраних числових рядів, зорієнтувавшись на значення p , притаманні цим рядам, можна буде зробити висновок про наявність чи відсутність закономірностей побудови складних двокомпонентних слів. Порівнюючи отримані результати з підсумками досліджень фізіологів, зокрема, у сфері механізму діяльності людського мозку, можна буде виявити закономірності, які становлять інтерес як з позиції психолінгвістики, так і мовознавства в цілому. Таким чином, кількісний аналіз доцільно використовувати як один із напрямів вивчення закономірностей побудови двокомпонентних складних слів в українській мові.

1. Арапов М. В. Квантитативная лингвистика. — М., 1988.
2. Андрукович П. Ф., Королев Э. И. О статистических и лексико-грамматических свойствах слов // НТИ. — Сер. 2. — 1977. — № 4.

3. Бодуэн де Куртене И. А. Избранные труды по общему языкознанию. — М., 1963. — Т. 1.
4. Валлери Радо. Жизнь Пастера. — М., 1950.
5. Егоров В. Г. Словосложение и его значение в истории языка // Уч. зап. Чувашского пединститута. — Чебоксары. — 1953. — Вып. 1.
6. Королев В. И., Корсакова И. П., Сафонова М. В. Частота употребления слов и их лексические характеристики // НТИ. — Сер. 2. — 1984. — № 2.
7. Ковалевский Н. О. Как смотрит физиология на жизнь вообще и “психическую” в особенности // Уч. зап. Императорского Казанского ун-та. — 1877. — Т. 1.
8. Леонтьев А. А. Язык, речь, речевая деятельность. — М., 1969.
9. Соколов А. А., Соколов Я. А. Математические закономерности электрических колебаний мозга. — М., 1975.
10. Стахов А. П. Алгоритмическая теория измерения. — М., 1979.
11. Ф. де Соссюр. Курс общей лингвистики. — М., 1933.
12. Altmann G. Prolegomena to Menzerath's law. Glottometrika 2. — Bochum, 1980.
13. Menzerath P. Architektonik des deutschen Wortschatzes. — Bonn, 1954.

УДК 811.161.1'374.26

Е. А. Войцева

Морская и рыболовецкая лексика в словаре русского языка XI-XVII ст.

Унификация словарного состава современных научно-технических и производственных отраслей, определение направлений их последующего развития предполагает изучение истории материальной и духовной культуры наших предков. Поэтому языковое историческое наследие находится в центре внимания современных лексикологов.

Из глубины веков дошла до нашего времени лексика из области практического рыболовства и мореплавания. Можно сказать, что история цивилизации — это история воды: с тех пор, как человек осознал себя в окружающем мире, он стал выражать преклонение перед водой, речными и морскими просторами, источниками материального существования человека и его вдохновения. Рыболовство издавна было традиционной формой хозяйствования, начиная с эпохи палеолита, ведь первобытные люди селились по берегам больших рек (в частности, Днепра, Днестра, Южного Буга, Северского Донца и др.). Восточные славяне, занимавшие в VI-IX ст. значительную территорию Восточной Европы от Карпат до Оки и от Ладоги до Черного моря, стали торговать с соседними странами. В древнерусском государстве IX-начала XII века значительную роль играл торговый “Путь из варяг в греки”, который проходил на юг от озера Ильмень, по маленьким речкам до истоков Днепра — и по Днепру до Черного моря. Важными пунктами этого водного пути были такие города, как Новгород, Смоленск, Любеч, Чернигов, Вышгород, Киев. Первые купцы (а заодно и воины) переправляли на юг мед, воск, меха, рабов [3:37]. К наиболее значимым политическим событиям, оказавшим мощное влияние на всю систему русского языка и ее отдельных подсистем, изменившим словарный состав, относятся феодальная раздробленность Руси в XI-XIII ст., монголо-татарское нашествие, формирование Московского княжества государем Иваном III, объединившим под своей властью в XV в. основной массив Северо-Восточной Руси, и, особенно, начало Петровской эпохи (конец XVII в.).

Русские мореплаватели совершают первые ледовые плавания: в 1648 г. экспедиция во главе с устюжским казаком С. И. Дежневым совершает плавание на кочах от устья р. Колымы до устья р. Анадырь, практически доказав, что можно пройти из Ледовитого океана в Тихий [10:134-135]. Налаживание экономических связей, потребность защиты государства от внешних врагов, военные походы князей, ледовые плавания поморов — эти и другие внелингвистические причины способствуют формированию и развитию лексики, связанной с рыболовным промыслом и мореходством.

Кроме того, историческое развитие языка и общества в Древней Руси определялось столкновением двух культур: языческой (славянской) и христианской (византийской), что выражалось в “совмещении двух литературных языков — народно-разговорного и литературно-книж-

ного (язык древних переводов) [6:16]. Наиболее употребительные слова русского языка XI-XVII вв. (около 60 тыс. слов) из области социально-экономических отношений, быта, сельского хозяйства, ремесел, искусства и культуры нашли отражение в Словаре русского языка XI-XVII вв. Работа по составлению данного словаря началась еще в 1925 году в Институте языка и мышления (позднее Институт языкознания АН СССР, работавший в 30-50-е гг. в Ленинграде). В 1936 г. вышел в свет "Проект древнерусского словаря (Принципы, инструкции, источники)", а в 1975 г. были опубликованы его первый выпуск. В создании словаря принимали участие многие известные русские лингвисты: акад. А. И. Соболевский, В. В. Виноградов, проф. В. А. Ларин, Р. И. Аванесов, О. Н. Трубачев, Ф. П. Филин, Д. Н. Шмелев и др.

Лексика Словаря XI-XVII вв. отражает разнообразие по жанрам, характеру написания (оригинальные и переводные тексты, приемышественно с греческого языка), древнерусские (XI-XIV вв.) и старорусские (XVI-XVII вв.) памятники письменности (художественная, публицистическая, богослужебная литература, естественно-научные труды, юридические памятники, актовые материалы, грамоты, путешествия, переписка, приходно-расходные книги и т.п.). Многочисленные морфологические и фонетические варианты, простота грамматических форм, высокая лексическая синонимичность и неустойчивость орфограмм поясняются "терпимостью" к разноречию. Изучение лексики древнерусских памятников за пределами из-за отсутствия объективных критериев, необходимых для хронологического сравнения единиц с тождественным значением и общепитературным употреблением. При этом количественные данные не могут служить надежным обоснованием для отнесения того или иного слова к разряду устаревших, так как "многочисленные случаи свидетельствуют о разноречии и о нормативного употребления, единичные случаи могут объясняться тем фактом, что слово только входит в употребление" [7:10].

только входит в употребление" [7:10].

Необходимо также учитывать специфику характера средневекового сознания человека, который, по мнению В. В. Котсова, отличался тем, что он оперировал не понятием о предмете, а лишь представлением о нем и поэтому преимущественное внимание сосредотачивалось на конкретном, вещном признаке. Поэтому отдельные материальные свойства обозначаемых номинаций требовали разъяснения и создания для этого конкретных текстов, представляющих в синтаксисе значения слов и их оттенки. "Средневековье важно тем, что трудами многих поколений в этот период происходит постепенное отчуждение имени от вещи, которую имя обозначает. Средние века с их самыми невероятными представлениями последовательно и неуклонно объективировали мир в глазах человека" [6:15]. Объективная окружающего мира происходила в условиях контактирования местного материяла и заимствований, причем происходило постепенное вытеснение одних форм другими, более совершенными. Отбор языковых форм и развитие структуры языка явились содержанием этого исторического процесса [5:6].

песка [5: 6].

Наше внимание привлекала морская и рыболовецкая лексика, представлявшая в 1-17 выпусках *Словаря русского языка XI-XVII вв.* Обединение лексик мореплавания и рыболовства в данной статье связано с тематическим сходством слов рассматриваемых сфер, обозначающих этапы освоения водного пространства человеком. Рассматриваемые номинации можно систематизировать по следующему лексико-тематическим группам: 1) названная типов лодок и судов; 2) наименования оснастки и конструктивных деталей набора судов (лодок); 3) названная рыболовных снастей; 4) слова, обозначающие специализацию снастей и специальностей, связанных с рыбоводными промыслами и др. Так как названия рыболовецких снастей и специальностей, связанных с рыбоводными сферами, в средневековый период частично описаны в ряде исследований (напр., Вакуров В. Н. Из истории терминологии рыбного промысла в русском языке (на материале летописных памятников XIV-XVI вв.) // Вопросы истории русского языка. — М., 1959; Петренко И. В. Терминология рыболовного промысла в памятниках деловой письменности XIV-XVI вв. // Науч. зап. Днепропетр. ун-та, 1963. — Т. 7. — Вып. 19; Трищенко И. Д. Промысловая лексика русских рыбаков дельты Дуная (словарь и исследования). — Кишинев, 1964; Мотузенко Е. М. Морская рыболовческая терминология северо-западного Причерноморья. — Одесса, 1987, статьи В. Л. Вотородского, Н. В. Михеевой, В. И. Гончарова и др.), остановимся подробнее на характеристике единичных первых двух групп.

го фонда. Например, прослеживается тенденция семантического уточнения географических наименований в связи с развитием практического мореходства. До начала XVIII в. география слабо расчлняла экономический и физический аспекты рассмотрения свих объектов [7:166]. Географические понятия имеют, как правило, несколько значений, напр.: море (морие) из *morje (западнославянский европейский пласт праславянской лексики) *большой водоем с соленой и пресной водой, море, озеро*; морье *небольшое внутреннее море, озеро*; берег (брѣг) из праславянского *berg *скала, обрыв, пропасть, берег*; лимень (лимень, лимьнь, распространилось на территории Причерноморья за 400-300 лет до. н.э из гр. λιμήν [2:21]) *пристань, гавань, залив*; курья (одно из древнейших финно-угорских заимствований, коми kurja *залив*, сблиз.с фин. kuru *борозда*) [12:2,431] *речной залив, заводь, заболоченный рукав или старое русло реки, угодье, примыкающее к ним*; заводь (префиксальное образование со значением “что-либо, находящееся по ту сторону, позади чего-либо”) *заводь, залив, род рыболовного закола из кольев и плетня*; лукоморье (лукоморие) (из праславянского *laka *изгиб и море*) [12:2,532] *морской залив, бухта, берег вдоль морского залива, излучина*; океанъ (окианъ, окианъ, акианъ, акианъ, акианъ, акыанъ) (из греч. οκεανος *море, океан*) [12:3,128] *море, чьи воды со всех сторон окружают землю*, а в текстах, отражающих представления, восходящие к античности, *река*; в источниках, отражающих географические представления XI-XVII вв., *Мировой океан*. Таким образом, словарь отображает обилие орфографических вариантов (особенно у слова океан), отсутствие в рассматриваемый период четкого размежевания между употреблением слов море и океан, понятиями море и озеро, высокую синонимичность понятия залив, что ведет к столкновению, конкуренции праславянских и заимствованных слов, старых и новых номинаций.

Разнообразие вариантов написания поясняется также стремлением авторов показать зрительный облик слова в конце охватываемого словарем периода, отразить лексические ресурсы языка (от высоких стилей до диалектных, обиходных средств выражения) в зависимости от орфографических школ и степени грамотности писцов. “В общем языке, как и в языке науки, дифференциации и отбору языкового материала предшествует своеобразное собирание наличного языкового материала, идет первый этап складывания национального литературного языка” [7:195]. Очевидно, более древней и архаичной следует считать лексику церковных памятников, напр.: аддия *ладья*: Плу Ис море. Богъ въ аддии (И.Злат., XII в.); еландии *ладья, судно, корабль* (из ср.-греч. χελανδίου): И живущимъ въ островѣ в Родѣдане многу подасть на устроение еландии Флавий (Полон. Иерус., XV-XVI вв.); корабиць (корабица, корабиць, крабица, крабица) *лодка, небольшое судно*: Нидѣ дѣва корабица стояща при озерѣ (Остр. ев., 1057 г.). Литературные памятники светского характера в большей степени отражали разговорную лексику, слова, распространенные в живом употреблении и поэтому более жизнестойкие: ладья (ладия): Сему прилучися плавание в ладии творити по рѣцѣ Невѣ (Пах. Ж. Моис., XV-XVII в.); лодейца (ладийца): По сих же в сукно худо и остро облеченъ, и ладница мала построена, вложено... его тѣло и погребоша (Хрон. Г. Амарт., XV-XVI в.); плоть паром: На Днѣпрѣ де для переѣзду государевыхъ ратныхъ людей за Днѣпр сдѣланы два плота и перевозятся ратные люди за Днѣпр на плотѣхъ, а тѣ плоты на канатѣхъ (АМГ, 1633 г.); кораблестроитель: Бяше же (Завулон) присно кораблестроитель, такожде и рыбѣ морскихъ преловитель (Хон., 1679 г.) и др.

К древнейшему пласту морской и рыболовецкой лексики IX-начала XII вв (по данным летописного памятника, “Повести временных лет”) относятся такие слова, как лодья (из прасл. *oldi), ладья, гребецъ (от гresti (веслами), возникло из значения *рыть* из *greb-sko), багоръ (предположительно исконно славянское слово), волокъ (из праслв. *velka), рыболовъ, а также первые заимствования-грецизмы: корабль (κοράβιον, вошедшее в литературный язык из бытовой речи) и производное карабица, парусъ, якорь, кубара, оляль [12:1,454; 102; т. 2, 510; см. 11].

Рассматриваемая лексика издавна была неоднородной: севернорусские и южнорусские говоры имели в словарном составе отличные единицы, напр., на севере функционировали такие лексемы, как пърь *паруса*, упругъ *ребро судна*, рая *перекладина*, щѣгла *мачта*, среди наименований судов — насалъ, будара, шнека, лодья, коча, карбас, а с юга древнерусской территории распространились лексемы лимень, корабль, кубара, парусъ, галеасъ и др. (об этой закономерности начального этапа складывания лексической системы, в частности, русского языка см.: 9:60-70; 1:63).

Территориальные факторы, по-видимому, обусловили характер распространения иноязычной морской и рыболовецкой лексики. На севере (Белое море) заимствовались слова из финс-

кого, вепского языков (дойва большая парусная лодка, карбась, кубась поплавок из древесного корня, буй). С юга приходили в бассейн Черного моря суда из Средиземного моря, родины мореходного искусства; моряки обменивались профессиональными терминами. Так постепенно на юге создается международная морская лексика для обозначения общих названий судов и их деталей, заимствуются слова греческого (барка лодка, галея малое плоскодонное судно, кубара (кувара), катартъ мачта с реями и парусом, многозначные единицы еландии, олядь (олядия) лодка, ладья, судно), латинского (варка, карина), итальянского (галеась тип крупной галеры, гондола, галера, каторга), тюркского (восточного) происхождения (каюкъ лодка, морское или речное судно, байдакъ речное судно, левент рядовой турецкого флота, кестякъ (костякъ) вид лодки; барка из перс. ketsti баржа).

Позднее, в конце XVII в., с Балтийского северо-запада начинают входить в состав русского языка западноевропейские слова. Одно из первых скандинавских заимствований — буса род мореходного судна, впервые отмечается в 1419 г., скорее из норв. byse: Пришоль къ Четыремь бугромъ кызылбашского Абась-шаховъ гонецъ... на кызылбашской бусѣ (АИ, 1646 г.). Первоначально это слово бытовало в языке новгородцев, затем попало в Москву, в низовья Волги, на Каспий и сибирские реки, а также на Днепр [2:21-22]. В Словаре XI-XVII вв. отмечаются также голландские (лоцман, батъ, буглина снасть для оттяжки парусов, боцмонъ, стюрманъ), французские (баржа), немецкие (брандеръ судно для поджигания неприятельского флота) и др. единицы иноязычного происхождения.

Западноевропейское влияние, впрочем, не было еще столь значительным: в данный период почти отсутствуют английские заимствования, играющие важную роль в современном морском лексиконе, ср.: констапель младший офицерский чин в морской артиллерии, по мнению М. Фасмера, из голл. konstapel, англ. constabel от ср.-лат. constabularius однokaшник, однополчанин [12:2,313]; Принять на службу великого государя Ругодивецъ, корабельный констапель (ДАИ, 1697 г.); остальные иноязычные единицы составляют 22% от общего количества исследованных слов.

Словарь XI-XVII вв. предоставляет фактические данные, подтверждающие, что в разнородной массе лексики морского дела и рыболовецкого промысла в русском языке издавна сосуществовали три основных лексических пласта: 1) исконная лексика с глубокими историческими традициями (главным образом, речная); 2) греко-итальянские заимствования (отмечаются с XI-XIII вв., вначале на Азово-Черноморском побережье; бытующие, по наблюдениям Б. Л. Богородского, в живом языке водников и рыболовов Азовского, Черного, Каспийского морей, а также в бассейне рек Днестра, Днепра, Дона и Волги в 60-е гг. нашего века) [2:5]; 3) западноевропейские заимствования (балтийский пласт) (с конца XVII в. стали проникать в систему русского языка, основной массив вошел в нач. XVIII в.).

Богатством форм и разнообразием семантики отличаются наименования лодок и судов, зафиксированные древнерусскими памятниками, от древнейших судовых названий: лодья (лодейца, ладийца, ладья, ладейца, ладийца, алдия), лодка (лодчонка, лодейка, лодеечка), стругъ, судно, насадъ (носаль, насада, насадець, носадець), самых простых видов, изготовленных из ствола дерева (чельнь, однодревка, набоенка, набойница, ботникъ, каюкъ (каючонокъ, каючокъ), комяга), — до больших гребных парусных судов (кочъ, галеонъ (галионъ), галеась, кубара, карбась (карбусъ, карбасокъ, корбузь, карбас). Лексемы ладья, каюкъ, крабыца, олядь, будара, лодейца, обозначали параллельно лодку и судно, объединяя еще эти два понятия.

Одним из самых распространенных на речных и морских просторах в древнейшую эпоху было слово насадъ (носаль, насада), новгородское по происхождению, с прозрачной внутренней формой (от на- и садить носатое судно со вздернутой оконечностью), употреблявшееся в разнообразных жанрах [2:20] с такими значениями: лодка, вмещающая несколько человек; речное и озерное (морское) судно, приспособленное для перевозки людей и грузов, нередко служившее в качестве боевого и военно-транспортного корабля: Придоша емъ воевать въ Ладозькое озѣро и лодкахъ... новгородци же всѣздавшие въ насады, въгрѣбоша в Ладогу (Новг. I лет., 1015 г.); речное плоскодонное грузовое судно: Да насадъ и съ снастью, и съ парусомъ со всѣмъ, а въ немъ соли семьсотъ на Вологдѣ (Арх. Стр., 1551г.). Производные образования свидетельствуют о словообразовательной активности данной лексемы и стремлению к дифференциации отдельных значений: уменьш. насадець (носадець): Мерил цсловальникъ... у княж(е) городца у Якова Москаля носадець с сол(ь)ю (Астрах. а., 1624 г.), насадникъ мастер, строящий насады, насад-

щикъ владелец насада, насадный промыселъ судовые перевозки товаров и припасов (особенно соли и рыбы) от мест добычи к местам продажи, насадный промышленникъ лицо, занимающееся организацией судовых перевозок, насадный приказчикъ доверенное лицо монастыря, ведущее дела, связанные с эксплуатацией насада, насадная жаловальная грамота царская грамота монастырю-владельцу соляных промыслов на право беспошлинного провоза соли к месту ее продажи монастырским судном.

Судходная лексика, представленная в словаре, отличается по функциональному назначению (грузы и людей перевозили на бударе, завозне, перевозне, для разгрузки крупных судов на мелководье использовали павозокъ, рыбу ловили на чельне, ѣзники, для ведения военных действий предназначались ошняки, шняки), по типу остнастки (гребные суда — будара, байдара, парусные — батъ, кочъ, коча, брегантинь; для уточнения конструкции, назначения, количества весел лодок использовались: лодка ловецкая, плавная, набойная, подъездная, кереводная, одновесельная, семерня и т.п.), плавающие по рекам (байдакъ, мишань, кочетокъ) и по морю (буса, буча, кубара, пенка).

Наиболее известными типами парусных судов у беломорских поморов были карбась, кочъ, лодья, обладавшие высокой мореходностью и просуществовавшие до XIX в. (а карбас — до нашего времени). Они предназначались для морского рыболовецкого промысла и транспортных целей. Беломорские лодьи и кочи были судами, построенными специально для ледового плавания: благодаря обводам при сжатии льда они не раздавливались, а “выжимались” вверх (этот же принцип используется и в наше время при постройке современных ледоколов) [10:151]. А великие места и лес угожий судной есть, сделать кочъ или шняки или в каких судах можно на тое великую реку поднятца (Гр. Сиб. Милл, 1619 г.).

Для обозначения гребно-парусных судов, относительно развалистых, узких и длинных с низкобортными корпусами и вытянутыми носами, мало мореходных, употреблялись слова галера (происходило от римских судов либурнов, заимствовалось из ит. *galera* или из нем. *Galere*) и каторга (катарга, катарха) (ко̀терꙋо̀в, мн. -а галера, принудительный труд) [12:1,386; т.2,210-211]: Товаров сквоз Грабунскую землю на галеры не возит (Куранты, 1620); А сверху раздалось пошире, гдѣ катархи стоять и каторжныхъ ясырей тюрьмы (Арс. Сух. Проскинитарий, 1653 г.). Гребцами на иноземных галерах были обычно преступники, рабы или вольнонаемные бедняки, вынужденные выполнять непосильную работу, терпеть бесчеловечное обращение, поэтому у слова каторга на русской почве уже в средневековье отмечается значение принудительная работа, в дальнейшем ставшее основным.

Начиная с древнейшего времени лодка была одним из самых популярных средств передвижения и рыбного промысла. Название лодки иногда позволяет судить о месте ее изготовления и распространенности: Да для перевозу через реку Онегу начальных людей... куплено две барки каргополок (Кн. переч., 1702 г.); Куплена лодья двинянка нова с карбасом с новым и снастью (Кн. прих.-расх., 1581 г.).

В случае, если наименование судна было иноязычным и нуждалось в разъяснении, писцы прибегали к необходимым уточнениям в тексте: Аще обрящеть русь кубару греческую, вывержену на коемъ любо мѣстѣ, да не приобидять ея (Соф. I лет., 945 г.); Нанявъ судно арабское, джерма зовомое, поѣхали отъ Решита въ полдень въ Мисирь (Арс. Сух. Проскинитарий, 1653 г.); Турецкой царь дѣлаеть суды, четыре барчи и каторги и корабли и мѣлкие суды (Дон. д., 1640 г.); Въ Перновѣ нашихъ поморскихъ судовъ нѣтъ, а есть в Пърновѣ любсскихъ гостей, которые пришли с торгомъ, три пѣнки, а садится на пѣнку человекъ по сороку и до пятидесять человекъ (Рим. имп., 1576 г.); Да стережеца всячески... от зажигательного корабля аглийски зовется брандеръ (Опис.м.-х.судов, XVIII в.); Делаютъ малые галѣи и иные плоскодонные корабли (Куранты, 1621 г.); Такожъ можно сдѣлать галиоты, чтобъ мочно къ Новой землѣ ходить для ловли китовъ и моржей (ДАИ, 1693 г.).

В ходе морской и рыболовецкой практики сталкиваются, взаимодействуют между собой исконные слова с отчетливой внутренней формой: павозокъ (паузокъ, павузокъ, павозочекъ), завозня лодка для завоза якоря, однодревка лодка, выдолбленная из древесного ствола, набоекка, набойница, набойня небольшая лодка, выдолбленная из осиновой колоды, с набитыми для увеличения бортов досками (набоями) и др. и единицы, не имеющие мотивировки (заимствования). Не связанные с какими-либо ассоциациями в языке, называющие современные в техническом отношении судовые постройки, иноязычные номинации в дальнейшем придут на смену старым

названиям (галера, брегантинь, гондола, баржа и др.). В конце XVII в. эта тенденция лишь начинает проявляться.

Слова, обозначающие остнастку и конструкции деталей набора судов (лодок), в XI-XVII вв. не отличаются таким разнообразием, как наименования лодок (судов): отсутствует регулярный флот, нет крупных кораблестроительных верфей. Преобладают лексемы, унаследованные из праславянского фонда (корма, нось, перо лопасть весла, руля, коргъ выступ на носу и на корме судна, служащий для привязывания якорей, нашвы род фальшборта из досок, пришитых или прибитых, нашесть скамья для гребцов, озда поперечная балка на речном судне, обшивина веревочный конец на парусе для управления им и др.). Некоторые из них имеют дублетные иноязычные соответствия. Синонимика, непрерывно меняющая наборы обозначений, множилась в связи с тем, что в орбиту русского языка при обработке функциональных стилей были вовлечены как народная речь, так и ресурсы старославянского языка. «Наличие ряда обозначений одних и тех же предметов, признаков и действий явилось основой стилистической и смысловой дифференциации языковых средств» [4:9]. Конкуренция происходила между исконными единицами и заимствованными. Так, на смену многозначному праславянскому по происхождению слову мость в значении *корабельная палуба* впоследствии придет палуба (производное образование от праслав. *ра- и луб *кора*, *лыко*): И бысть топоть великъ на моству корабля (Х. Игн. См., 1405 г.). В рассматриваемый период второе слово имеет следующие лексикографические варианты: палубъ (полубъ) *крытая повозка*, палубы (полубы) *мн. перекрытие корпуса судна*: Разбитой корабль сталъ на каменной коствѣ въ водѣ по верхне палубы (Ст. сп. Милосл., 1642 г.).

У слов котва и котка (котъка) (из *koty, род. п. котъве) имеется несколько значений, одно из которых — *якорь*; у лексемы котка оно развилось на основании сходства по функции, по производимым действиям (кошка и якорь примерно одинаково цепляются когтями) [12:2, 350]: Нъ Исѣ дха погрузи въ источницѣхъ крыщения, имѣаше свои корабль и котъкы желѣзны (Усп. сб., XII-XIII вв.). Параллельно с ними функционировали грецизмы анкира, (анкура, агкура), (заимствовавшиеся непосредственного от греч. *αγκυρα*) якорь (впервые встречается в Договоре Олега, 907 г.; опосредованное заимствование через др.-слав. *ankari* от греч.) [12:4, 553], вытеснившее прочие варианты и сохранившееся в своем основном значении до наших дней. Иноязычные номинации карина (из ср.-лат. *carina*) *киль корабля*; днище и киль (из голл. *kiel* или нем. *Kiel*) [12:2, 233], как свидетельствует приведенный ниже иллюстративный материал, были синонимами; возможно, в связи с последующей ориентацией на западноевропейские достижения в области морского флота, второе обозначение становится основным: Первый болший новый корабль о трехъ жильяхъ. Карина его мастерскихъ аршинъ шестидесяти (Петр, 1704 г.); Когда похочешь дѣлать корабль... дѣлать по концамъ прямыя углы, потомъ киль ниже черты (Петр, 1697 г.).

Активным в словообразовательном и семантическом плане, освоенным в языке Средневековья, было раннее заимствование парусъ (из гр. *φάρος*, впервые отмечается в 907 г.): И повелѣ Олѣгъ во емѣ своимъ колеса издѣлати и воставляти на колеса корабля. И бывшу покосну вѣтру, въспя парусы и идяше к граду (Радзив. лет.); Бежали есмя парусом (Х. Афан. Никит., 1472 г.); всѣми парусы, во всѣ парусы *подняв все паруса, не уменьшая площади парусов*; уменьш. парусецъ: Далъ старецъ Иевъ соловецкой вкладомъ шубу песцевую... да лоханъ мѣдную, да парусецъ невеликъ подержан за три рубли (Кн. прих.-расх. Ант. м., 1581 г.); парусина *плотная ткань из пеньки*; парусное *погодье*, парусная *погода* *благоприятная для плавания под парусами* *погода*.

Часть лексических номинаций, взятых в рассматриваемый период из других языков для обозначения новых понятий, широко употребляется и в современном русском языке (каюта, компас, мачта, парус), другие устарели (буглина, каторгъ, карина).

Фактический материал Словаря русского языка XI-XVII вв. позволяет констатировать, что морская и рыболовецкая лексика принадлежит к древнейшим лексическим пластам и требует дальнейшего пристального изучения. Ее основу составляют слова, относящиеся к праславянскому периоду (в основном это лексемы, связанные с освоением речных пространств, озер, с рыболовством). Потребности общества, накопление знаний в сфере практического мореплавания, водные походы путешественников, мореплавателей, а также постоянная языковая тенденция к обновлению номинативно-экспрессивных средств способствуют пополнению словаря новыми единицами. Для этого используются как внутриязыковые возможности (напр., полисемия: корелка *монета, тип лодки, деревянная ложка, выдолбленная из корня дерева*; котецъ *клетка, загон, загородка*, во мн. ч. *рыболовная снасть, мережа*; омонимия: кочъ *накидка, длинный плащ*,

парусное судно, повозка, коляска, хабрець, удаец; морда передняя часть животного, рыболовная снасть, сплетенная обычно из ивовых прутьев или ниток), так и заимствование иноязычных элементов, проникающих преимущественно из устной речи вследствие профессиональных контактов речников и моряков (а также в связи с деятельностью по переводу греческих текстов). Нельзя не учитывать и субъективные моменты, отображенные в памятниках данного периода, вследствие которых отбиралась определенная словарная единица для обозначения конкретной реалии или понятия. Таким образом в русский язык попадают слова из греческого и латинского языков, а затем из итальянского; западноевропейизмы только начинают проникать в общезыковую систему.

На начальном этапе существования и формирования мореходной и рыболовецкой лексики отмечается широко разветвленная синонимия, богатство фонетико-морфологических вариантов, вызванных прямыми и опосредованными заимствованиями (иногда параллельным вхождением слова из разных языков), системой звуковой передачи, степенью освоенности иноязычной единицы в языке. К наиболее распространенным видам фонетико-морфологического варьирования можно отнести формы, отличающиеся родовыми признаками (гундаль — гондола, каюта — каюць, мачть — мачта, насадь — насада), однокоренные дериваты с синонимичными суффиксами (носникъ, носовщикъ тот, кто правит судном с носа, набоенка, набойница выдолбленная из осинового колоды лодка с набитыми для увеличения высоты бортов досками (набоями), мережчикъ, мерещикъ тот, кто ловит рыбу мережею и т.п.). При этом лексемы, входящие в синонимические ряды, мало отличались по семантике и употреблялись в разнообразных стилях.

Древнейшие единицы морской и рыболовецкой лексики, сохранившие в ходе исторического развития основное номинативное значение, объединяют древнерусский язык с современным и составляют ядро современной морской терминологии.

1. Богородский Б. Л. Итальянские названия ветров на Черном море // Лексико-грамматические исследования по русскому языку: Межвуз. тематич. сб. — Калинин, 1977.
2. Богородский Б. Л. Русская судоходная терминология в историческом аспекте: Автореф. дис. ... доктора филол. наук. — Л., 1964.
3. Лях Р. Д., Изюмов В. І. та ін. Історія України. — Донецьк, 1998.
4. Ковтун Л. С. Древние словари как источник русской исторической лексикологии. — Л., 1977.
5. Колесов В. В. Древнерусский литературный язык. — Л., 1989.
6. Колесов В. В. Мир человека в слове Древней Руси. — Л., 1986.
7. Кутина Л. Л. Формирование языка русской науки (Терминология математики, астрономии, географии в перв. трети XVIII вв.). — М. — Л., 1964.
8. Словарь русского языка X I-XVII вв. — М., 1975-1991. — Вып. 1-17.
9. Сопоставительное исследование русского и украинского языков: Лексика и фразеология (синхронический и диахронический аспект) / Отв. ред. Г. П. Ижакевич. — К., 1991.
10. Сулержицкие М. и Д. Краткий морской словарь для юношества. — М., 1965.
11. Творогов О. В. Лексический состав "Повести временных лет" (словоуказатели и частотный словник). — К., 1984.
12. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4 т. — М., 1986-1987.

Список сокращений

- АИ — Акты исторические, собранные и изданные Археографической комиссией. — СПб., 1841-1842. — Т. 1-5.
- Арс. Сух. Проскинитарий — Проскинитарий Арсения Суханова // Правосл. палестин. сб. — СПб., 1889. — Т. 7. — Вып. 3 (21).
- АМГ — Акты Московского государства, изд. Акад. наук, т. 1-2 // Под ред. Н. А. Попова. — СПб., 1890-1901.
- Арх. Стр. — Архив П. М. Строева. — Пг., 1915. — Т. 1.
- Астрах. А. — Акты Астраханской воеводской избы XVIII в. — Хранятся в ЛОИИ, ф. 178.
- Гр. Сиб. Милл. — Миллер Г. Ф. История Сибири. 1-2. — М. — Л.
- ДАИ — Дополнения к Актам историческим, собранные и изданные Археографической комиссией. — СПб., 1846-1875. — Т. 1-12.
- Дон. д. — Донские дела, кн. 1-5. — СПб., 1898-1917.
- Кн. прих.-расх.. Ант. м., 1581г. — Книги прихода-расходные Антониева Сийского монастыря. 1575-1643 гг. — Рукоп. ЛОИИ, ф. 5.

- Кн. прих.-расх.** — Книга прихода-расходная Иосифо-Волоколамского монастыря. 1581-1582 гг. — Рукоп. ЛОИИ, ф. 284.
- Куранты** — Куранты, или вестовые письма 1655 и 1665 гг. — Чт. ОИДР, 1880.
- Новг. I лет.** — Новгородская летопись по Синодальному харатейному списку. Изд. Археогр. Комис. — СПб., 1888.
- Опис. м.-х. судов** — Описание мореходных судов. — Рукоп. ГПБ, нач. XVIII в.
- Пах. Ж. Моис.** — Житие Моисея, архиеп. Новгородского // Яблонский В. В. Пахомий Серб и его агиографические писания. — СПб., 1908.
- Петр** — Письма и бумаги императора Петра Великого, т. 1-7. — СПб. — Пг., 1887-1918. 1688-1708 гг.
- Радзив. лет.** — Радзивилловская, или Кенигсбергская летопись. I. Фотомех. воспроизв. рукописи. — СПб., 1902.
- Гим. имп.** — Памятники дипломатических сношений с империей Римской. 1488-1699. — СПб., 1851-1868. — Т. 1-9.
- Соф. I лет.** — Софийская первая летопись. — ПСРЛ. — СПб., 1851. — Т. 5.
- Ст. сп. Милосл.** — Статейный список о посольстве И. Д. Милославского и дьяка Л. Лазаревского в Царьград в 1750 г. — Врем. ОИДР. — 1850. — Кн. 8.
- Усп. сб.** — Успенский сборник X II-XIII вв. // Под ред. С. И. Коткова. — М., 1971.
- Х.Афан. Никит.** — Хождение за три моря А. Никитина 1466-1472 гг. — М. — Л., 1958.
- Х. Игн. См.** — Хождение И. Смольнянина 1389-1405 гг. // Под ред. С. В. Арсеньева. — Правосл. палестин. сб. — СПб., 1887. — Т. 4. — Вып. 3.
- Хон.** — Мардария Хоникова стихи к Лицевой библии Пискантора 1674, сост. в 1679 г. — Рукоп. ГИМ.
- Хрон. Г. Амарт.** — Истрин В. М. Хроника Георгия Амартола в древнем славяно-русском переводе, 1920. — Т. 1.

УДК 811.161.1'276(477.74)

Е. Н. Степанов

Способы образования профессионализмов в речи одесситов

Сегодня в отечественном языкознании признается факт социально-кастовой языковой диакритизации сознания, с которой, в первую очередь, связывают образованность и профессиональную деятельность личности [2:186]. Наблюдения показывают, что немаловажную роль в процессе языкового расслоения общества играют также этногеографические, геокультурные и исторические особенности носителей одного языка. Так, общеизвестен факт идишизации ещё в средние века ашкеназских евреев; весьма заметны различия в цыганском языке, которым пользуются представители пяти основных этнических групп цыган: балканской, владарской, украинской, балтийской и немецкой [6:115-120, 334-336]; в США изучают свой, американский вариант английского языка; китаец-северянин не может понять устную речь китаец-южанина; сирийские арабы испытывают затруднения при изучении арабоязычной научной литературы, изданной в Египте, Тунисе, Марокко, Алжире, поскольку научные терминосистемы формируются в арабских странах по-разному: в большинстве арабских стран ориентируются на сложившиеся в современных европейских языках научные терминосистемы, в то время как в языковой политике Сирии преобладают семитофильские настроения, и создание научных терминов происходит с помощью калькирования или лексико-семантической деривации от общеупотребительных слов.

Русское языкознание XIX и XX столетий ориентировалось, как правило, на универсализацию языковой системы. Лингвоментальность отдельной личности или определённой социальной группы подчиняется общенациональной лингвоментальности, создается и культивируется единая для всех слоев носителей языка литературная норма. Исследование диалектных особенностей речи в это время подчинено изучению исторических закономерностей языка. Профессиональные же аргументы рассматриваются как полигон для опробования современных тенденций развития языка.

В своих исследованиях мы исходим из того, что индивидуальный язык человека охватывает лишь часть этнического языка [4:132]. То же относится к языку социально или профессионально ориентированной группы людей. Профессиональная маркированность речи проявляется на

фонетическом, грамматическом, семасиологическом, словообразовательном, фразеосемантическом уровнях. Способы образования профессионализмов, понятных определённой профессиональной группе, весьма разнообразны; механизмы создания профессиональных наименований в каждом конкретном случае индивидуальны, поскольку зависят от особенностей ассоциативного мышления той или иной профессиональной и этнической группы, места жительства (город или село), традиций, а также от тенденций развития языка.

Основным, наиболее продуктивным способом образования профессиональных арготизмов в русской речи жителей средней полосы России является морфологический способ [3:10-11]. Это соответствует современным тенденциям в словообразовании русского литературного языка. Думается, что такое соответствие связано с тем, что территория, на которой проводил исследования В. Д. Бондалетов, — один из основных ареалов проживания русского этноса. Русский этнический стереотип здесь доминирует и, следовательно, реализуется в сфере языкового сознания любого профессионального стереотипа.

В Одессе наблюдается совершенно иная картина. Этот город является одним из островных ареалов проживания русского этноса. Этническая пестрота, геоклиматические, культурно-исторические, социально-экономические особенности Одессы сформировали за 200 лет своеобразный этно-социокультурный стереотип. Профессиональная речь одесситов ориентируется сегодня на языковые нормы русского языка. По данным опроса 1998 г., русскими себя назвали 4496 одесситов, русский язык родным или одним из родных считают 76%, а используют только его в профессиональной речи — 8996 жителей. Однако наиболее продуктивным способом образования профессиональных арготизмов в русской речи одесситов является не морфологический, а лексико-семантический.

Традиционно выделяют два типа лексико-семантических дериватов: метафорического и метонимического происхождения [7:6 и др.; 4:84-91]. Наши наблюдения свидетельствуют также о высокой активности паронимазии как механизма лексико-семантической деривации.

В речи моряков, бизнесменов, челночных торговцев *контрабас* — это «контрабанда». Отсюда сочетания: *везти контрабас, идти контрабасом, играть на контрабасе* (перевозить партию контрабандного товара). Поскольку этот профессиональный арготизм стал известен таможенникам и пограничникам (*попасться на контрабасе, контрабасный товар*), моряки и торговцы стали заменять его существительными, которые находятся в гиперонимических или когипонимических отношениях с основным значением слова «контрабас» (соответственно: *инструмент, музыка и скрипка, гитара, виолончель*). Отсюда сочетания *много музыки* (= много контрабандного товара, груза), *конфисковать инструмент* (= конфисковать партию контрабандного товара), *виолончель в порядке* (= контрабанда прошла через таможню), *гитара заиграла* (= контрабандный товар поступил в продажу), *скрипка на месте* (= контрабандный груз прибыл в назначенный пункт). Кроме того, для наименования контрабанды и связанных с ней реалий торговцы и моряки используют синекдоху (слова, именующие части названных музыкальных инструментов). Напр.: *струна лопнула / струны лопнули* = 1) контрабанду конфисковали; 2) таможенный чиновник не смог или отказался пропустить контрабанду; *смычки в воду / за борт* = спрятать / выбросить контрабандный груз, товар.

В речи медработников можно услышать паронимазийные лексико-семантические дериваты (ЛСД) *капелла* = 1) капельница; 2) пипетка; 3) медсестра; *малярня* = 1) малярные работы (малярка); 2) материалы для малярных работ (краски, лаки, эмали, мел, известь); *поясница* = женщина-экскурсовод. В речи радиотехников зафиксировано *идиот* как паронимазийный ЛСД со значением «диод». В то же время ни медики, ни моряки слово *идиот* в таком значении не используют; у моряков и радиотехников во время эксперимента даже не возникало ассоциаций *капелла - капельница, малярня* — малярные работы; у радиотехников и медиков *контрабас* ассоциировалось только с музыкой, музыкантами, низким звуком, смычковыми и струнными музыкальными инструментами, большим размером, тяжелым весом, но никак не с контрабандой.

Метафорический ЛСД *школа* в значениях: 1) отоваривание; 2) закупка товара в одном месте с целью перепродажи в другом по более высокой цене — возник в арготизме моряков в связи с наличием в слове *школа* семы «непрофессиональный». Этот ЛСД чаще используется во втором значении. Для моряков привычны сочетания: *делать школу* = 1) отовариваться; 2) сбывать товар; *брать на школу* = покупать с целью перепродажи. Предполагается, что для моряков данная деятельность непрофессиональна. Та же деятельность профессиональных негоциантов называ-

ется торговлей. В советское время моряки вынуждены были маскировать эту свою деятельность, поскольку она преследовалась законом: за спекуляцию наказывали. Занимались же *школой* все моряки, так как она приносила доход, намного превышавший зарплату. Из профессиональной речи моряков этот ЛСД еще в советское время перекочевал в речь железнодорожных проводников, стюардесс, лётчиков, дипломатов, военных, другого «командировочного люда» и «профессиональных» спекулянтов.

В постсоветское время этот арготизм продолжает использоваться, хотя «спекуляция» стала дозволенным «бизнесом», «предпринимательской деятельностью».

Торговцы считают, что арготизм *школа* удобен, поскольку на понятийном уровне включает в себя все этапы процесса: закупку, сбыт, получение прибыли. Современные носители этого ЛСД могут «делать школу», не выезжая за пределы Одессы и даже не выходя за ворота одного рынка (напр.: делать школу на персиках; взять сыр на школу; заниматься школой на «Приво-зе»).

Метафорический ЛСД *атака* в значении «магазин для моряков» понятен только морякам (*идти в атаку* = идти в магазин для моряков; *взять в атаке* = купить в магазине для моряков). *Очки* в значении «бинокль» — функциональная метафора из речи моряков. Эксперимент показывает, что военнослужащие ставят слова «очки» и «бинокль» в один понятийный и функциональный ряд, однако синонимами не считают. В отличие от моряков, в профессиональной речи военнослужащие вместо «бинокль» иногда используют функциональные метафоры *луна*, *микроскоп*, метонимию *линзы* или номенклатурные наименования биноклей. Для самоидентификации моряки иногда пользуются арготизмом *водоплавающий* — субстантиватом, заимствованным ими из зоологической терминологии.

В современной речи моряков-одесситов арготизм *пиндос* является этнонимом, называющим жителя (моряка) юго-восточной Азии, хотя в общепринятом в Причерноморье просторечии так называют греков. В начале XIX века пиндосами называли бежавших от турецкого геноцида греков-горцев из Пинда (греч. Πινδος). Среди греков они были самыми бедными и забытыми. Видимо, этноним *пиндос* в греческом языке содержал отрицательную коннотацию, которая пришла в русский язык вместе с этим эллинизмом. Отсутствие в России реалии, породившей этот этноним, обусловило «вымывание» из русского *пиндос*, в отличие от греческого, семьи «часть» при сохранении других сем. Следовательно, для носителя русского языка *пиндос* — любой грек (аналогично функционированию этнонима *русский* на территории бывшего СССР и, например, в США). Отрицательная коннотация этого слова поддерживалась паронимами *πινος* (пинос) грязь; *πινδαξ* (пиндакс) = дно, *πενις* (пенис) = бедняк (в устной речи); межъязыковой паронимией (латинск. *penis*). Более 50% моряков не знают сегодня об этимологии слова *пиндос*, используя его как бранное. Те же, кто знает (как правило, коренные одесситы), отмечают два значения этого слова: 1) грек (просторечное); 2) глупый, невоспитанный, никчемный, нечистоплотный человек (грубое, бранное). Новый семантический сдвиг в этом слове — метафорическо-го происхождения. Моряки называют жителей юго-восточной Азии пиндосами за их, по преимуществу, нищенское существование, низкую образованность, антисанитарные условия жизни, слабое здоровье. Кроме того, филиппинцы и малайцы — конкуренты наших моряков на рынке труда и не гнушаются пиратства.

Меню в значении «программа» — функциональная метафора, ставшая профессионализмом актеров (напр.: Меня сегодня в меню нет). У океанологов и гидрометеорологов используются профессиональные сочетания *бульба круглого цвета* и *бульба шарового цвета*. Рекламные агенты и представители сетевого маркетинга в своей профессиональной речи маскируют глагол *рекламировать* многозначным *грузить*. Отсюда производные: *груз* = товар; *нагрузка*, *загрузка* = реклама. Грубо-просторечные фразеологизмы *сделать рыло*, *сделать морду* обычно толкуются как «не признавать своей вины», «важничать». Однако в арго косметологов эти словосочетания ведут себя как синтаксически свободные и обозначают «сделать макияж» (общеупотр.) или «сделать лицо» (профессией). В арго моряков *дракон* = боцман (обязанный по долгу службы быть суровым, требовательным, поскольку руководит наименее сознательной частью экипажа — матросами, *дед* — старший механик (обычно стармех — умудрённый опытом пожилой мужчина, однако молодых старших механиков тоже называют дедами). У автомобилистов *лапоть* = 1) колесо; 2) покрывка; *друшлак* (но не дуршлаг) = выхлопная труба (функциональные метафора); *конюшня* = автобус.

Компьютерщики, работая с программами “Windows” (окна), часто заменяют термин «окно» арготизмом *форточка*. Такой метонимический перенос (синекдоха) этнокультурно обусловлен, поскольку форточка — неотъемлемый атрибут восточнославянского окна, в отличие от английского, американского, немецкого, корейского и многих других окон. «Окна» на мониторе в сознании русского, украинца, белоруса воспринимаются как *форточки* (в верхней части экрана; малых размеров).

Смежными с паронимазией являются случаи образования профессиональных арготизмов на базе имен собственных. Так, *филипп* (*филиппок*) толкуется у моряков как филиппинец, филиппинский моряк или житель юго-восточной Азии (похожий на филиппинца); *клава* = клавиатура (у компьютерщиков); *артюхи* = посредственные артисты (у театроведов); *сада* = сахар (у торговцев).

Сегодня широко распространенным способом образования профессионализмов является заимствование слов и словосочетаний из других языков. Так, в речи моряков *мастер* = капитан (от англ. master; *чиф* = старпом, старший помощник капитана (от англ. chief); *дабл-зироу* = туалет; *форнак* = съемный бимс. В речи маляров, облицовщиков, штукатуров используется диалектный украинизм вещественно-собирающего значения *шмарганина*, называющий раствор или клей, которыми работают эти специалисты. *Шмарганина* — метафорический ЛСД по признаку формы вещества (слизеподобное).

Весьма распространённым является морфологический способ образования профессионализмов: *контрабасить* = перевозить контрабанду; контрабасный = контрабандный; *коротыш* = короткая арматура (у строителей); *гондурасить* = вкалывать, выполнять тяжёлую физическую работу (у разнорабочих); *инстик* = институт (у студентов); *репетнуть* = порепетировать (у артистов и музыкантов).

Фонетический и фонетико-морфологический способы образования профессионализмов [3:31-50] в современной речи одесситов непродуктивны. Например: *кочумай* = кончай, заканчивай (у музыкантов); *до-ре-ми-до-ре-до* = уходи, убирайся, не мешай, пошёл вон (у музыкантов); *валашебник*, *валашебница* = нечестный маклер (от волшебник, волшебница!) — у маклеров по недвижимости); *кубуццолечки* = мелкий убористый почерк (у учителей); *не штыпается* = не стыкается (у архитекторов).

Субстантивация как частный случай семантико-грамматического способа образования слов также отмечается в ряде современных профессиональных арготизмов: *водоплавающие* = моряки (упоминалось выше); *рогатые* = судоводители (у моряков); *спасибо* = 1) взятка; 2) оплата за услуги; 3) материально выраженная благодарность (в речи чиновников и предпринимателей). Напр.: *спасибо* положите в конверт; *спасибо* надо провести по кассе; ваше *спасибо* оказалось неподъемным. В слове *дорогостроящие* словосложение и субстантивация действуют одновременно. Этот субстантиват — самоидентификатор в речи дорожных строителей. Попад отсюда в речь домостроителей, *дорогостроящими* стали называть строителей, бригады и организации, выполняющие строительные работы за высокую плату или строящие дорогое жилье.

В профессиональных арготизмах Одессы поддерживаются процессы образования новых слов способом усечения основы в чистом виде или с фонетическими изменениями. Напр.: *опер* — милиционер-оперативщик; *хоз* — хозяин квартиры (у работников милиции); *кандёр* — конденсатор (у радиотехников); *сцек* — сценарий (у работников театра и кино); *кома* — комната (у маклеров по недвижимости); способом сложения основ — *маслопуп* = моторист, работник машинного отделения на судне; судомеханик; сложносинтаксического способа (*мелиоратор* = краснобай (у правоведов!), являющиеся базой многих речевых каламбуров; аббревиацией: *худнер* = худрук, художественный руководитель (у работников театра); *мануфта* = 1) плохой учебник; 2) ерунда, дрянь (у студентов и преподавателей факультета романо-германской филологии университета). Арготизм *мануфта* первоначально возник на французском отделении ОГУ (*manu* /учебник/ + *туфта*), затем сфера его употребления расширилась. До новых носителей это слово зачастую доходит лишь с интегрирующей семей “плохое”. Дифференцирующие семы “книга” и “обучение” «вымываются», что позволяет использовать слово *мануфта* как абсолютный синоним общеупотребительных *ерунда*, *дрянь*, *туфта*.

Изменение грамматических форм слова — непродуктивный процесс в профессиональных арготизмах Одессы. В профессионально маркированных вариантах здесь, как правило, проявляются общеязыковые тенденции нарушения литературной нормы: *подваль корму* вместо *подвали*, *под-*

тяши корму (моряки); *коитейнерá* вместо *коитейнеры* (транспортники и рыночные торговцы); «*Утёнки*» вместо «*Утята*» (торговцы моющими средствами) и под.

Мы предполагаем, что отсутствие случайных нарушений грамматической нормы в профессиональных русскоязычных аргос на территории Одессы — результат формирования единых профессиональных стереотипов в условиях пересечения нескольких этнических стереотипов. Наиболее прагматичным и закономерно реализуемым в практике общественных отношений является такое положение: представители разных этносов могут достичь успеха в совместной профессиональной деятельности лишь при условии формирования у них единого профессионального стереотипа. При этом грамматическая вариативность сводится к минимуму, а лексико-семантическая и фразеосемантическая вариативность обязательны — они отражают различия в многочисленных профессиональных стереотипах.

Профессиональный стереотип стандартизирует речь отдельных профессиональных групп на основе их социальных ролей. Профессионализмы, в отличие от общеупотребительных слов, «процеживаются» не через всех говорящих на данном языке людей, а лишь через определенную социальную (профессиональную) группу его носителей.

Одним из средств формирования единых профессиональных стереотипов у носителей разных этнических стереотипов является наиболее универсальный способ образования лексических и фразеологических единиц профессиональных аргос. В условиях сложившегося в Одессе этносоциокультурного стереотипа таким наиболее универсальным для всех языков и наиболее продуктивным в русских профессиональных аргос Одессы является лексико-семантическая деривация на основе метафоры, паронимии и метонимии. Мы считаем, что лексико-семантические дериваты — это лексические и фразеологические единицы переходного типа (как те, которые уже признаются самостоятельными, так и неосновные значения базовых единиц), поскольку их мотивация не утрачивается, пока живет в языке мотивирующий их знак. Наиболее продуктивны лексико-семантические дериваты, возникающие на основе метафоры и паронимии, а также арготизмы от иноязычных заимствований. Морфологический, фонетический, фонетико-морфологический, семанτικο-грамматический, сложносинтаксический способы, сложение и усечение основ, аббревиация поддерживаются носителями профессиональных аргос, однако менее продуктивны.

1. Аكوва С. Л. Лексико-семантическое образование существительных со значением лица (на основе метафоризации) // Русский язык в школе. — 1985. — № 5.
2. Бардина Н. В. Языковая гармонизация сознания. — Одесса, 1997.
3. Бондалетов В. Д. Условные языки русских ремесленников и торговцев: Словопроизводство. — Рязань, 1960.
4. Морковкин В. В. Антропоцентрический *vevus*: лингвоцентрический подход к лексикографированию // Национальная специфика языка и ее отражение в нормативном словаре. — М., 1988.
5. Петренко В. Ф. Психосемантика сознания. — М., 1988.
6. Системы личных имён у народов мира. — М., 1989.
7. Шанский Н. М. Очерки по русскому словообразованию. — М., 1968.

УДК 811.111'367.622

Ю. Б. Фомина

Личные существительные в функциональном аспекте (на материале английского языка)

Естественный язык антропоцентричен по самой своей сути, по генетической природе, поскольку создавался он человеком и для человека. Даже в тех лексических единицах, в семантике которых сема «лицо» отсутствует потенциально, точкой отсчета для качества и количества, меры и результативности является сам человек. Например, богатая цветовая палитра, поименованная в развитых языках, воспринимается только человеческим глазом. И хотя существует фразеологизм «как бык на красное», тем не менее известно, что бык реагирует не на красный цвет мулеты (его он не различает), а на движения матадора.

Однако в языке есть лексическое пространство, занятое теми единицами, которые непосредственно связаны с номинацией человека, — существительные со значением лица, или личные существительные (Personal nouns).

С позиций функциональной грамматики, сформулированных А. В. Бондарко, личные существительные должны занимать определенное место в функционально-семантическом поле персональности как лингвистической категории, образуемой оппозицией обозначений говорящего/слушающего — того, о ком говорится. “Персональность как ФСП — это группировка разноуровневых (морфологических, синтаксических, лексических, а также комбинированных — лексико-грамматических) средств данного языка, служащих для выражения различных вариантов отношения к лицу” [14:7]. Семантическим стержнем данного поля является категория лица/не-лица, отражающая внеязыковую действительность и выступающая как универсальная языковая категория.

Ядром моноцентрического для английского языка поля персональности считаются местоимения I и you, представляющие говорящего и собеседника. Местоимения 3-го лица he/she, поскольку они заменяют субстантивы, называющие человека, также выступают как средства реализации ФСП персональности, однако они не входят в ядро, а составляют его ближайшую периферию. Периферийный характер этих единиц обусловлен тем, что они не указывают на непосредственных коммуникантов, а лишь на тех лиц, о которых идет речь и которые могут быть, но могут и не быть участниками коммуникативного акта. В иерархии языковых единиц, манифестирующих поле персональности, существительные со значением лица занимают позицию крайней периферии, поскольку они взаимодействуют в тексте только с местоимениями he/she, выступая по отношению к последним в роли антецедента.

Функциональный подход к семантической категории лица предполагает исследование номинативных единиц, называющих человека, их классов и типов, закономерностей их системной организации. Этот аспект выходит за рамки функциональной грамматики и в большей степени представляет собой объект функциональной лексикологии [см.:2].

В языках аналитического строя со слабо развитым словоизменением в ФСП персональности особую важность приобретают именно лексические единицы. Интересно в этой связи замечание Н. А. Слюсаревой: “Морфология местоимений в английском языке столь скудна, что ряд авторов (Н. Г. Воронцова, Б. А. Ильиш, А. И. Смирницкий) предпочитают трактовать выражение категории лица лишь в плане лексики” [12:98].

Пласт лексики со значением “человек” в английском языке исключительно обширен. Исследовательница Н. К. Карпухина сообщает, что ею извлечено около 7000 слов с данной семантикой из словаря: The Concise Oxford Dictionary of Current English (Oxford, 1964) [7]. Наша работа выполнена на материале Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English A. S. Hornby (Oxford-Moscow, 1982) [15], откуда нами извлечено около 3000 слов, которые проверены по New English-Russian Dictionary под редакцией профессора И. Р. Гальперина (М., 1977) [16]. Другие источники привлекались нерегулярно.

Лингвисты, исследующие личные существительные, подчеркивают сложность описания этого лексического пласта. Так, Н. И. Мигирина полагает, что “дать полную, исчерпывающую классификацию всех статусов лица на современном этапе разработки проблемы — дело весьма трудное” [10:77-78].

Существительным со значением лица посвящена большая лингвистическая литература, рассматривающая их в разных аспектах и в разных языках. При этом представленные семантические классификации многообразны: от двух “ниш” — “ниша занятий” и “ниша качественной характеристики” (Карпухина) — до десяти “статусов лица” (Мигирина). Следует подчеркнуть, что семантические классификации носят универсальный характер и могут быть экстраполированы на материал другого языка, хотя конкретное наполнение отдельных лексико-семантических групп может значительно отличаться.

Деятельность человека в окружающем его мире многообразна. Он выполняет “три различных типа действий — физические, интеллектуальные и речевые. С другой стороны, ему свойственны определенные состояния — восприятие, желание, знания, мнения, эмоции и т.п.” [1:39-40]. Имеется в лингвистической литературе попытка полной семантической классификации лексики, объединенной семемой “лицо”, в статье А. С. Белоусовой “Русские имена существительные со значением лица” [4] и в ее работе “Имена лиц и их синтаксические свойства” [3].

Именно классификация, предложенная А. С. Белоусовой, является, по нашему мнению, наиболее успешной, при том, что автор ставит узкоспециальную задачу “выработки научно обоснованных унификаций лексикографических характеристик семантически близких слов” [4:71].

Группировка личных субстантивов, в основу которой положен метод “шести шагов” Ю. Н. Караулова [6], имеет целью показать внутреннюю иерархическую организацию этого лексического класса, что особенно важно в контексте функционального подхода. Классификация А. С. Белоусовой используется в данной работе, хотя в отдельных случаях она дополняется и обобщается. “При построении классификации следует исходить из учета всех существующих в лексическом классе семантических отношений между его членами. Избранный путь построения классификации — от выделения тематических классов — к тематическим подклассам, с дальнейшим вычленением лексико-семантических групп и рядов слов разной степени обобщенности, связанных отношениями противопоставления, ступенчатого и обратного включения — позволяет выявить и соотнести между собой все такие группировки” [4:75]. Личные номинации в английском языке в соответствии с указанными принципами группировки представляют следующую систему.

На первом шаге классификации нами выделяются два лексико-грамматических разряда названий человека: нарицательные и собственные субстантивы. Собственные субстантивы, обозначающие человека (антропонимы), не включаются исследователями в класс существительных со значением лица в силу своей специфичной семантики и употребления, однако функциональный аспект исследования, предполагающий описание всех единиц, объединенных в содержательном плане семемой “лицо”, требует обращения и к этой лексике. Поскольку же наша работа выполнена на материале Oxford Dictionary, что ограничивает лексический материал (как известно, в общие толковые словари имена собственные включаются лишь выборочно), остановимся на некоторых фактах деонимизации (апеллятивации) антропонимов, представленных в словаре, и их группировке. При апеллятивации антропонима существительное становится названием группы людей, для которых характерны свойства и качества, отличающие его первоначального носителя.

Возможны и другие модели: имя лица > вещь; имя лица > действие; имя лица > единица измерения и др. [11:54].

В соответствии с нашей задачей остановимся на модели: имя лица > лицо.

В словаре Хорнби зафиксировано имя библейского праведника и пророка-мудреца Даниила, приключения и видения которого описаны в “Книге пророка Даниила”. Его имя этимологизируется с еврейского языка как “судья бог” или “бог мой судья”. В английском языке существительное Daniel развивает переносные значения *upright judge честный судья* и *person of great wisdom мудрый человек* [15,1:217].

В целом, имена библейских и евангельских персонажей (мифоантропонимов), и развивающие переносные значения, и употребляющиеся в прямом номинативном значении, представлены в словаре достаточно широко: Christ, Eve, Adam, Judas, Lucifer, Madonna, Moloch и др. Зафиксировано и имя христианского святого George (в связи с тем, что St. George — *patron saint of England*), а также и знаменитый рождественский Santa Claus.

Представлены в словаре и гипокористики от ряда официальных английских антропонимов: Nick, Jack. Имя Jack развивает ряд переносных значений, широких: *простой человек, парень*; более узких: *работник, поденщик*, а в американском сленге *детектив, сыщик*.

Релевантными для лексикографической фиксации собственного имени оказывается не только семантическая производность, но и такие свойства, как способность антропонима входить в устойчивые словосочетания и высокий словообразовательный потенциал. Имя Jack характеризуется обоими названными признаками. В связи с фразеологизацией семантики многих личных имен находим в словаре английские антропонимы Peter и Paul (*rob Peter to pay Paul* — экв. рус. Тришкин кафтан — 9:574). Включение в словарь имен античных богов Auroa, Bacchus, Cupid, Mars, Morpheus, Neptune и др., а также имен ряда исторических личностей Copernicus, Calvin, Croesus обусловлено теми же лингвистическими причинами, что и у антропонимов и мифоантропонимов. Имя Copernicus образует прилагательное Copernican в составе терминологических обозначений the Copernican system/theory, от имени Calvin образуется Calvinism, а Croesus является синонимом очень богатого человека.

Таким образом, лексико-грамматический разряд имен собственных-антропонимов, индиви-

дуальных имен человека, структурно неоднороден, так как включает в себя 3 типа субстантивов: 1) реальные антропонимы — личные имена и фамилии людей, 2) мифоантропонимы — имена библейских и мифологических персонажей, 3) теонимы — имена божеств любого пантеона.

Анализ всех антропонимов, помещенных в Oxford Advanced Learner's Dictionary, не является задачей данной статьи; обратившись к этому материалу, мы хотели лишь подчеркнуть значимость личных имен — антропонимов для лексической системы английского языка, их активное взаимодействие с нарицательными существительными, что определяет необходимость включения этого лексического класса в функционально-семантическое поле персональности как одного из материальных средств его представления.

Итак, первый шаг классификации личных номинаций — это разделение их на собственные и нарицательные, второй шаг классификации касается только нарицательных существительных.

На втором шаге классификации среди нарицательных существительных выделяются два неравных по объему тематических класса, противопоставленных как названия реальных лиц (класс А) и названия существ человекоподобных, вымышленных, сказочных (класс Б), для которых объектом является вымышленный антропоморфный персонаж.

“Особый характер референтной отнесенности слов класса Б определяет собою и тот весьма существенный факт, что, не представляя класса реальных объектов, эти слова не организуются в иерархически организованные подклассы. Характерными семантическими свойствами класса Б является отсутствие родо-видовых связей между словами, широко распространенных в классе А, а также тенденция к образованию специфических переносных оценочных значений” [4:75]. Примерами слов класса Б, отмеченных в словаре Хорнби, являются: *amazon* — *амазонка* и *мужеподобная женщина*; *hag* — *ведьма* и *уродливая старуха*; *imp* — *сын черта* и *озорной, вредный ребенок*; *maenad* — в прямом значении: *менада, вакханка, спутница Диониса*, персонаж греческой мифологии; в переносном: *взбешенная женщина (frenzied woman)*; *fairy* — *фея, волшебница, эльф*; в американском сленге *гомосексуалист*; *vampire* — *вампир, упырь* и в то же время *вымогатель, кровопийца*; *vamp* — *женщина-вамп и соблазнительница*; *goblin* — *фольк. проказливый чертенок, живущий в домах и в дуплах деревьев; домовый*.

Интересно, что в английском языке слова, называющие вымышленных, сказочных, мифологических персонажей с положительным оценочным компонентом семантики развивают переносные значения в сфере “человек и общество”, например: *apostle* — в прямом значении: *один из 12 учеников Христа*, в переносном — *лидер реформы, новой веры или движения, поборник*; *angel* — *ангел*, переносные значения: 1) *театральный меценат*, 2) *разг. лицо, оказывающее какую-либо финансовую или политическую поддержку*.

Итак, референтная отнесенность слов класса Б не к индивидууму, а к классу однородных предметов, антропоморфный характер обозначенных ими объектов, способность этих слов развивать вторичные (переносные) значения для номинации людей позволяет рассматривать их именно как нарицательные личные существительные.

Дальнейшие классификационные шаги связаны с анализом слов класса А. В этом классе на третьем шаге классификации выделяются слова с широкой понятийной основой (“обобщающие-квалифицирующие названия”, группа I) и противопоставленные им слова с более конкретной предметной основой (“индивидуализирующие названия”, группа II). “В отличие от наименований группы II, в которых далее могут быть выделены более конкретные индивидуализирующие семантические признаки, вводящие слово в определенный тематический подкласс (например: *слесарь* — “род занятий”, *урод* — “внешний физический признак”), значения слов, входящих в группу I, сводятся к максимально общим признакам, соотносящим их с любым лицом (например: *человек, лицо, персона*)” [4:78].

В силу своей обобщенной семантики слова группы I не образуют иерархически организованных классов и подклассов. В зависимости от качества обобщенного признака, в них выделяются три лексико-семантические группы.

1. “Общие номинации лица”, например: *man, human, human being, person, personage*.

Особенностью этой немногочисленной подгруппы является то семантическое свойство, что они не связаны с полом человека. Эти слова выступают как родовые по отношению к наименованиям, объединяемым в группе II, и по существу находятся с ними в отношениях семантической гипонимии [4:78].

2. “Номинации-обращения”: sir, dear sir, mister, missis, miss, effendi (в Индии), baboo (в Индии), old boy; brother (Afro-American) [5:20].

3. “Номинации-оценки”, употребляемые для выражения похвалы: brick, fine fellow, fine girl, belle, а также в качестве бранных, оскорбительных слов: beast, ass, bastard, knave, zombie, jade, old bag, harridan, tomfool.

Третий шаг классификации оказывается последним для слов группы I, а дальнейшее построение классификации наименований лица (четвертый шаг) полностью относится к словам группы II.

Специфика “индивидуализирующих названий человека” проявляется в том, что они используются не столько для номинации людей, сколько для передачи информации об их деятельности, внешней и внутренней характеристике, их образе жизни и поведении и т.д.

На четвертом шаге классификации в группе II выделяются следующие подгруппы:

- 1) названия лиц по активным/пассивным действиям, деятельности, роду занятий, профессии;
- 2) названия лиц по отношению к кому-чему-либо, связям с кем-чем-либо, социальным состояниям и признакам;
- 3) по внутренним физическим, физиологическим, интеллектуально-эмоциональным свойствам и внешним физическим признакам.

Следующий, пятый шаг представляет собой дальнейшую классификацию каждой из выше-названных подгрупп на отдельные семантические микрополя.

В подгруппе 1 объединяется большое количество субстантивов, называющих людей по их основной профессиональной деятельности, роду занятий (микрополе *a*): artist, barman, barmaid, beautician, baker, ballerina, ballet-dancer, bandmaster, G-man, barnstormer — амер. пренебреж. *бродячий актер, гастролер*, barber, beak — жарг. 1) *судья*, 2) *учитель*, camera-man, carpenter, jack-tar и др.

Отдельно в подгруппе 1 выделим номинации лиц по профессиональной деятельности в определенных научных областях (микрополе *b*): analyst, anatomist, anthropologist, arabist, archeologist, arithmetician, astrologer, astronomer, alchemist, genealogist, geographer, zoologist, naturalist, ecologist и др.

Третий пласт в подгруппе 1 составят слова, называющие людей по неосновной деятельности, непостоянной функции, лексемы, обозначающие лиц, непрофессионально занимающихся чем-либо (микрополе *c*): amateur, amateur painter, amateur photographer, amateur sportsman; antiquary, saboteur, baby-sitter, baby-minder, ham — амер. жарг. *плохой актер, актер-любитель*, gambler, fan, flibustier.

Названные микрополя не равноправны: в отношениях противопоставления находятся здесь группы *a*, *b* как номинанты лиц, профессионально занимающихся чем-либо, и группа *c*, называющая лиц по их непрофессиональному или временному роду занятий.

Личные существительные подгруппы 1 могут быть противопоставлены по семантическому принципу “активность — пассивность лица по отношению к действию или состоянию”. Пассивным носителем действия будет лицо как объект воздействия со стороны другого лица или лиц. Таким образом, микрополя *a*, *b*, и *c* противостоит микрополе *d*, включающее, например, слова: courier, candidate, depute, benefactor, benefactress, almoner, bailee, backer, vassal, the accused, vouchee.

Пятым шагом семантического анализа подгруппы 2 (“названия лица по отношению к кому-чему-либо, связям с кем-чем-либо”) будет выделение таких микрополей:

e) по соотносительности, связям с другим лицом или лицами; *f*) по отнесенности к группе, совокупности лиц; *g*) по отнесенности к общественным, научным, религиозным и др. течениям, направлениям, организациям; *h*) по отнесенности к территории, местонахождению, месту жительства.

К микрополю *e* отнесем:

- общие названия: relative, kin, kinsman, kinswoman;
- слова, указывающие на связь поколений: ancestor, ancestress;
- наименования по родству: daughter, daughter-in-law, aunt, uncle, daddy, father, mother, half-brother;
- названия по официальным брачным отношениям: bachelor, benedick (-ct), family man, betrothed, wife, husband;

— названия по неофициальным брачным отношениям: favourite, lover, odalisque, bed-fellow (шутл.), whore (груб.);

— названия по сексуальной ориентации: gay, faggot, queer, voyer, transsexual;

— наименования лица по совместным действиям, деятельности: ally, associate, accomplice, rival;

— названия по контакту, общению, знакомству: acquaintance, best man, pal (пазг.), friend, girlfriend.

В названиях лица по отнесенности к группе, совокупности лиц (микрополе *f*) последовательно выделяются:

— названия по отнесенности к расе, нации, народу: Anglo-Indian, Yankee, Anglo-Saxon, American, Canadian, Indian, African, Asian, gaucho, Bantu, half-breed, half-caste;

— наименования по отнесенности к социальной среде: aristocrat, capitalist, magnate, philister, imperialist, snob. В микрополе *g* входят:

— названия по отнесенности к общественным, научным, художественным течениям, направлениям: federalist, behaviourist, beatnik, idealist, pacifist, nationalist, decadent, egalitarian, Anglophile, Anglophobe, anti-Semite, agnostic, impressionist;

— наименования по отнесенности к религии: quaker, adventist, Anglo-Catholic, Anglican, Calvinist, Baptist, Sabbatarian, Christian, atheist.

К микрополю *h* отнесем номинации человека по отношению к территории, месту жительства, включая общие названия и слова, указывающие на постоянное/перемное место жительства и конкретную территорию, город, местность: native, aboriginal, immigrant, emigre, emigrant, castaway, citizen, Muscovite, Londoner.

Обратимся к анализу подгруппы 3 (“названия лица по физиологическим, физическим, интеллектуальным, поведенческим свойствам и признакам”). Среди личных субстантивов этой подгруппы можно выделить такие микрополя:

— названия человека по полу и возрасту: мужчин: man, gentleman, gent, lad; женщин: woman, gentlewoman, lady, dame, the fair sex, girl, donna; названия детей: baby, child, infant in arms, bairn (шотл.), bambino;

— наименования лиц по интеллектуальным способностям: genius, sage, egg-head (часто ирон.), ignoramus, ignorant man, addle-head, addle brain, barbarian (перен.);

— названия человека по поведению в жизни, в быту: adventurer, adventuress, alarmist, automaton (перен. о человеке), pamby-pamby, fanatic, egotist, sadist, sado-masochist, boor, imp, laggard, tool;

— номинации лица по отношению его к речевой деятельности: babbler, prattler, wind-bag (пренебр.) “болтун, пустомеля”;

— названия человека по внешности, внешним характеристикам: beauty, belle, freak, fright, magnet, bald-head, albino, blonde, humpback, cripple, runt (пренебр.) карлик;

— названия человека по состоянию здоровья, отношения к жизни и смерти: valetudinarian, abortion, incurable, deaf, mute, the deceased, decedent (амер. юрид.), kleptomaniac, casualty, natural, madman, madwoman, person with AIDS, person living with AIDS, AIDS-related [три последних: 8:77];

— названия человека по моральным качествам:

а) доброте/злости: good soul, villain, miscreant, scoundrel, tyrant;

б) правдивости/лживости: deceiver, cheat, fraud, trickster, impostor, fibber, magsman;

в) хитрости/простоте: slyboots, dodger, simpleton;

г) смелости/трусости: bold spirit, daredevil, chicken (перен.);

д) скупости: miser, niggard, skinflint, hoarder;

е) аккуратности/неряшливости: slut, sloven, slattern.

Функциональный аспект исследования субстантивов со значением лица предполагает проекцию на грамматическую систему языка, в частности на морфологические категории одушевленности/неодушевленности и категорию рода [см.: 13:107-114].

В английском языке названные грамматические категории не находят реализации на морфологическом уровне. Авторы “Грамматики современного английского языка” подчеркивают номинативное содержание этих категорий: “Так же, как различие между природным и грамматическим временем, существует различие между биологическим родом и родом существительных. В английском языке их очень мало. Там, где они делаются, биологическая категория “пол”

и грамматическая категория "род" тесно взаимосвязаны, таким образом, отличия природного пола определяют различия английского грамматического рода" [17:187].

Предложенная ступенчатая семантическая классификация личных существительных, обна- руживающая внутреннюю иерархию данной лексической системы, позволит в дальнейшем рас- смотреть взаимодействие выделенных групп, подгрупп и микрополей с деривационными сред- ствами, создающими маскулинные и феминные производные, а также изучить синтагматиче- ские связи номинаций человека, принадлежащих к разным семантическим объединениям.

1. Апресян Ю. Д. Образ человека по данным языка: попытка системного описания // Вопросы языкознания. — 1995. — № 1.
2. Бацевич Ф. С., Космеда Т. А. Очерки по функциональной лексикологии. — Львов, 1997.
3. Белоусова А. С. Имена лиц и их синтаксические свойства // Слово и грамматические законы языка: Имя / В. В. Лопатин, В. А. Плотникова, А. С. Белоусова, М. С. Суханова, С. Н. Дмитренко. — М., 1989.
4. Белоусова А. С. Русские имена существительные со значением лица (лексический класс и вопросы его словарного описания) // Вопросы языкознания. — 1981. — № 3.
5. Гинзбург Р. С., Позднякова Н. Г. Словарь новых слов Барнхарта и некоторые наблюдения над пополнением словарного состава современного английского языка // Иностранные языки в школе — 1975. — № 3.
6. Караулов Ю. Н. Общая и русская идеография. — М.: Наука, 1973.
7. Карпухина Н. К. Отглагольные имена лица в современном английском языке // Научные доклады высшей школы. Филологические науки. — 1977. — № 2.
8. Корда И. В. Функционирование неологизмов в разных сферах человеческой деятельности (на материале английского языка) // Функциональная лингвистика: прагматика текста: Мат-лы конф. — Симферополь, 1997.
9. Кунин А. В. Англо-русский фразеологический словарь. — 4-е изд., перераб. и доп. — М., 1984.
10. Мигирина Н. И. Типы номинаций для обозначения статусов лица в современном русском языке. — Кишинев, 1980.
11. Подольская Н. В. Словарь русской ономастической терминологии. — М., 1978.
12. Слюсарева Н. А. Проблемы функциональной морфологии современного английского языка. — М., 1986.
13. Смольская А. К. Семантическая категория лица/не-лица и грамматический средний род в славянских языках // Слов'янський збірник. — Одеса, 1998. — Вип. V.
14. Теория функциональной грамматики. Персональность. Залоговость. — СПб., 1991.
15. Hornby A. S. Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English. — Moscow-Oxford, 1982. — V. 1, 2.
16. New English-Russian Dictionary / Ed. by prof. I. R. Galperin. — М., 1977. — V. 1, 2.
17. Quirk R., Greenbaum S., Leech G., Svartvik I. A Grammar of Contemporary English. — London, 1978.

УДК 811.161.1'42

Л. Ф. Баранник

Диалектизмы в раннем рассказе Л. Н. Толстого «Утро помещика»

Рассказ «Утро помещика» впервые был опубликован в журнале «Отечественные записки» в 1856 году, № 12. Он посвящен описанию жизни предреформенной русской деревни во всей ее сложности и противоречивости. Порожденная крепостническими отношениями страшная нищета и забитость русского крестьянина со всей очевидностью вставала со страниц толстовско- го рассказа, придавая ему резкий социально-обличительный характер. Высокую оценку рас- сказу «Утро помещика» дал Н. Г. Чернышевский в статье «Заметки о журналах», опубликован- ной в первом номере «Современника» за 1857 год. Главное достоинство толстовского рассказа Н. Г. Чернышевский увидел в «верности натуре». Чернышевский подчеркивал, что Толстой в этом рассказе «с замечательным мастерством воспроизводит не только внешнюю обстановку быта поселян, но, что гораздо важнее, их взгляд на вещи», что «в крестьянской, избе он так же дома, как в походной палатке кавказского солдата» [1:682]. Высоко оценил «Утро помещика» в

письме А. В. Дружинину от 13 января 1857 г. И. С. Тургенев. Он нашел в «Утре помещика» «мастерство языка, рассказа, характеристики великое» [2:85].

«Верность натуре», «мастерство языка великое» Толстого проявляется прежде всего в отборе языковых средств, с помощью которых в «Утре помещика» описывается крестьянский быт, создаются образы крестьян, их речевые характеристики.

Наряду с общеизвестными, литературными словами Л. Н. Толстой в своем рассказе мастерски использует диалектизмы всех видов: собственно лексические, словообразовательные, семантические, морфологические и синтаксические, причем в «Утре помещика» преобладают собственно лексические и словообразовательные диалектизмы: *новина* урожай нового года *бачка* отец, *детенок* ребенок, *дитя*, *гладох* толстяк, *мшеник* амбар, *осик* огороженный участок леса с ульями, *пасека*, *гуторить* говорить, *попритчиться* случиться, *полюбиться* понравиться, *поснедать* поесть, *оправить* поправить, *скородить* бороновать, *вестимо* конечно, *зачать* начать, *трудить* утруждать, *беспокоить*, *запрошлый* прошлый, *неспорно* бесспорно, *супротив* против, *надо* *ти* надо, *нету* *ти* нет и др. Используются в рассказе и этнографические диалектизмы — названия специфически местных предметов крестьянского быта, одежды, обуви и т. п.: *панева* клетчатая, обычно шерстяная юбка, сшитая из нескольких полотнищ ткани [4, III:15], *коты* женская обувь, род полусапожек, ботинок с высокими передами [4, II:179], *зыбка* колыбель, *люлька*, *качалка* [4, I:697] и др.

Основная масса диалектизмов встречается в речи крестьянских персонажей, однако имеются они и в речи девятнадцатилетнего помещика Дмитрия Нехлюдова, и в авторской речи. Причем речь автора в отличие от речи персонажей свободна от диалектизмов фонетических, морфологических и синтаксических. В авторской речи употребляются, как правило, собственно лексические диалектизмы, обозначающие предметы деревенского быта, не имеющие однословных номинаций в литературном языке. В авторском повествовании диалектизмы выполняют важные стилистические функции: они служат для создания местного крестьянского колорита, реалистического показа быта крестьян, их труда, обозначают специфически сельские реалии: *срубец*, *клеть*, *завалина*, *мшеник*, *осик*, *панева*, *коты*, *кичка* и т. п.

Так, вместе с Дмитрием Нехлюдовым читатель попадает в крестьянскую избу и, прежде чем увидеть самого хозяина, знакомится с его бедной обителью. Описывая крестьянское жилище, Толстой вполне закономерно использует диалектизмы: *Жилище Чурисенка составляли: полуснивший, подопрелый с углов сруб, погнувшийся набок и вросший в землю так, что над самой навозной завалиной виднелось одно разбитое красное волоковое оконце с полуоторванным ставнем, и другое, волчье, заткнутое хлопком. Рубленные сени с грязным порогом и низкой дверью, другой маленький срубец, еще древнее и еще ниже сеней, ворота и плетеная клеть лепились около главной избы* [3:325]. Знакомя читателя с Юхванкой и его молодой женой, Толстой описывает их крестьянский наряд также с помощью диалектных слов: *На ней была чистая, шитая на рукавах и воротнике рубаха, такая же занавеска, новая панева, коты, бусы и вышитая красной бумагой и блестками четверугольная щегольская кичка* [3:338]; *На нем была праздничная рубаха с ярко-красными ластовиками, полосатые набойчатые портки и тяжелые сапоги с сморщенными голенищами* [3:339].

Особенно широко Толстой использует диалектные элементы для создания речевой характеристики своих крестьянских героев, носителей южнорусского, тульского диалекта. Диалектизмы придают естественное звучание речи крестьян, подчеркивают их индивидуально-психологические социальные и локальные особенности, выступая таким образом в качестве характерологических фактов. Л. Н. Толстой правдиво отражает в своем рассказе, носящем очевидный автобиографический характер, знакомый с детства тульский диалект. Яркое подтверждение этому — речь крестьян из «Утра помещика». В речи крестьян встречаются диалектизмы всех видов. Употреблением лексических, фонетических, морфологических диалектных элементов и синтаксических конструкций, характерных для тульской диалектной речи, Л. Н. Толстой добивается индивидуализации речи крестьянских персонажей. Особенно показательна в этом плане речь бедного крестьянина Ивана Чурисы, Арины, матери Давыдки Белого, кормилицы, няни. В речи этих героев с помощью диалектно-разговорных элементов и конструкций оттеняется поэтичность их натуры, пластичность и музыкальность простого крестьянского языка. Писатель мастерски вводит в речь своих героев устойчивые конструкции русской живой народной речи: тавтологические обороты и повторы фольклорного характера, пословицы и поговорки, под-

черкивающие народную мудрость и поэтичность. Речь крестьян «Утра помещика» чрезвычайно выразительна, красочна, экспрессивна именно потому, что она оправданно и в нужной мере насыщена диалектизмами. Особенно выразительна речь Арины, Давыдкиной матери: — *Ведь добро бы мужик хворый был, — с тою же живостью и теми же жестами продолжала Арина, — а то ведь только смотреть на него, ведь словно боров с мельницы раздулся. Есть, кажись, чему бы работать, гладух какой! Нет, вот пропадает на печи лодырем. Возьмется за что, так не глядели бы мои глаза: коли поднимется, коли передвинется, коли что, — говорила она, растягивая слова и неуклюже поворачивая с боку на бок своими угловатыми плечами... — Загубил он меня, сироту! — взвизгнула она вдруг, размахнув руками и с угрожающим жестом подходя к сыну. — Гладкая твоя морда лдящая, прости господи!... Ведь все одна, кормилец. Старик-от мой хворый, старый. да и тоже проку в нем нет, а я все одна да одна. Камень, и тот треснет. Хоть бы помереть, так легче было б: один конец. Заморил он меня, подлец! Отец ты наш! мочи моей уж нет! Невестка с работы извелась и мне то же будет [3:350-351].*

Насыщенность толстовского рассказа диалектизмами вызвана, на наш взгляд, не только характеристическими целями, но и стремлением писателя приблизить читателя к своим крестьянским героям, к обстановке русского крестьянского быта, создать у него настроение, близкое к настроению чуткого наблюдателя, доброго собеседника крестьян, каковым выступает в рассказе молодой помещик князь Нехлюдов. Степень насыщенности речи девятнадцатилетнего помещика Нехлюдова диалектными элементами различна: она находится в строгой зависимости от того, с кем из крестьян он разговаривает. В разговоре с теми крестьянами, к которым Нехлюдов относится с глубоким сочувствием и симпатией — пятидесятилетним Чурисом, Юхванкой, Давыдкой, Ариной, матерью Давыдки — он старается максимально приблизить свою речь к их простонародной речи. При этом пересыпает свою речь не только лексическими диалектизмами, но и синтаксическими конструкциями, свойственными живой диалектной речи: — *Опять! — с досадой сказал молодой барин, пожимая плечами, — отчего же ты больна, а не приходишь сказаться в больницу? Ведь для этого и больница заведена. Разве вам не повешали? [3:328]; — Ты приходи нынче на сходку; я миру поговорю о твоей просьбе; коли он присудит тебе избу дать, так хорошо, а у меня уж теперь лесу нет. Я от всей души желаю тебе помочь; но коли ты не хочешь пересилиться, то дело уже не мое, а мирское [3:333]; ... Коли тебе в чем-нибудь нужда, то приди ко мне, попроси прямо, что нужно и зачем, и не лги, а всю правду скажи... [3:344]; — А господский-то откуда? (хлеб — Л. Б.) рассуди-ка сам, кто под него вспахал? заскородил? кто его посеял, убрал? мукички? так?.. Ведь коли бы все, как ты, на боку лежали, так мы давно все бы на свете с голоду умерли [3:349].*

Л. Н. Толстой мастерски вводит диалектизмы в ткань своего художественного повествования. Хотя отдельные местные слова вне контекста и не совсем понятны читателю, в рассказе их необычность не замечается. Толстой не делает никаких замечаний и разъяснений относительно диалектных слов, их характера и области употребления, не объясняет диалектных слов ни в авторской речи, ни в речи персонажей, не дает подстрочного толкования. Диалектные слова вводятся Толстым в контекст, позволяющий уяснить их семантику, диалектным элементам в авторском повествовании, как правило, сопутствуют контекстуально образуемые литературные эквиваленты либо те или иные указания на них. Указания на литературные соответствия могут содержаться и в самих диалектных образованиях. При этом известную роль играет прозрачность внутренней формы диалектного слова. Например, в следующем контексте: *Конец водоноса не качивался, а плотно лежал на ее широком и твердом плече [3:338]; Юхванка долго улыбался, переминался, и только тогда, когда Нехлюдов сердито крикнул: «Ну! что же ты? — бросился под навес, принес обротъ и стал гоняться за лошадыю, пугая ее и подходя сзади, а не спереди. ... Он покраснел, выпустил уши лошади и, без помощи обрати, открыл ей рот, посмотрел в зубы... [3:342].*

Л. Н. Толстой умело использует синонимические ряды и антонимические пары для ввода диалектизмов в текст повествование, для их ненамного толкования. При этом один из компонентов синонимического или антонимического ряда является литературным, другой — диалектным. Приведем отдельные примеры: — *Да, избы славные, сухие и теплые, и от пожара не так опасны, — возразил барин, нахмурив свое молодое лицо, видимо недовольный насмешкой мужика. — Неспорно, ваше сиятельство, избы важные (3:330). Семантический диалектизм важные в данном контексте является синонимичным общеизвестному славные в значении «отличные»,*

“прекрасные”. У Даля находим: «Важный. Кур. тмб. отличный, прекрасный, превосходный!» [4, I:159]. Семантический диалектизм **важные** органически вписывается в толстовский контекст и благодаря параллельному употреблению литературного синонима **славные** становится понятным читателю. Ср. аналогичный прием «прояснения» семантики диалектного слова с помощью литературных синонимов в следующих контекстах: — *Вот моя подмога вся тут, - продолжал Чуриш, указывая на белоголового шершавого мальчика лет семи...* — *Вот и подсобка моя вся тут, продолжал звучным голосом Чуриш, проводя своей шершавой рукой по белым волосам ребенка, — когда его дождешься? а мне уж работа невмочь* [3:334]; — *То и осмелюсь вам доложить, что напрасно старуха вас трудила. Она старуха умная и хозяйка; да что ж господина из-за всего беспокоить?* [3:336]. С этой же целью использует Толстой и антонимы. Например, в следующем контексте: — *...Будешь трудиться- и я буду помогать; с божиею помощью и поправишься.* — *Уж не то, что поправиться, а только бы не совсем разориться, ваше сиятельство, — сказал Чуриш, принимая вдруг серьезное, даже строгое выражение лица, как будто весьма недовольный предложением барина, что он может поправиться* [3:337]. Употребление в этом контексте антонимов **поправиться** — **разориться** проясняет читателю значение семантического диалектизма **поправиться** “выйти из бедственного положения, окрепнуть”.

Включая диалектные слова в языковую ткань своего рассказа, Толстой пользуется ими на равных правах с лексикой литературного языка. Для этого требуется большое мастерство. Местное, диалектное слов не должно нарушать единства высказывания или описания, не должно восприниматься как инородное вкрапление в художественный контекст. Молодой Л. Толстой с этой задачей блестяще справился. У Л. Толстого диалектная лексика является полноправной не только в речи крестьянских персонажей, но и в авторском повествовании. Л. Толстой не делает в тексте никаких замечаний и разъяснений относительно диалектных слов, их характера и области употребления, как это делал И. С. Тургенев в «Записках охотника». У Л. Толстого иная манера пользования народным диалектным словом. В отличие от Тургенева Толстой никогда не объясняет диалектных слов ни в авторской речи, ни в речи персонажей.

Этому принципу ввода диалектизмов в ткань художественной прозы Л. Н. Толстой остался верен и в своих зрелых произведениях («Война и мир», «Живой труп», «Анна Каренина» и др.)

В принципах отбора и приемах использования диалектных средств русского языка в раннем рассказе «Утро помещика» проявилась творческая индивидуальность молодого Л. Толстого, своеобразие его манеры письма. Рассказ «Утро помещика» закрепил за Л. Толстым славу одного из первых писателей России. «Утро помещика» наряду с другими толстовскими произведениями крестьянской тематики способствовало дальнейшей демократизации русского литературного языка.

1. Чернышевский Н. Г. Полное собрание сочинений: В 15 т. — Т. 4.
2. Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем. Письма. — Т. 3.
3. Здесь и далее цитируем по изданию: Л. Н. Толстой. Собр. соч.: В 22 т. — М., 1979. — Т. 2.
4. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. — М., 1955. — Т. 1-4.
5. Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В. Н. Ярцева. — М., 1990.

Система засобів вираження функцій спонукальності в сучасній українській мові (прагмалінгвістичний аспект)

Останнім часом увагу мовознавців усе більше привертає прагматичний аспект дослідження мови, що зумовлено єдністю її комунікативної та експресивної функцій. Категорія спонукальності належить до такої понятійної категорії, у якій прагматична функція мови виявляється з особливою яскравістю, адже в основі спонукальних речень лежить відображення волюнтаристичних відношень між мовцем та співрозмовником. У спонукальних висловленнях виражається адресоване слухачеві волевиявлення мовця стосовно виконання дії, спрямованої на перетворення ірреальної ситуації в ситуацію, яка за наміром мовця повинна стати в результаті каузованої дії реальною [4:80].

Під час мовленнєвого акту з певною метою суб'єкт мовлення не може не прогнозувати прагматичного ефекту сказаного. Ефективність мовленнєвого впливу значною мірою залежить від сприйняття, розуміння, трактування висловлення інтерпретатором, якому воно адресоване. Тому в ситуації спонукування вибір мовцем тих чи інших засобів вираження спонукальної інтенції має важливе значення. Суб'єкт мовлення прагне до такої мовної структури речення, яка б точно передавала його зміст і сприяла б правильному сприйняттю слухачем різновиду волевиявлення.

У пропонованій статті ми розглядаємо в прагмалінгвістичному аспекті засоби вираження таких функцій спонукальності, як наказ, пропозиція, порада, прохання.

Як відомо, центральне місце серед засобів вираження прямого спонукування належить висловленням, у яких позицію присудка займають форми 2-ї особи однини та множини наказового способу. Ці форми мають прагматичну заданість, тобто призначені для цілеспрямованого формування думок, почуттів та волі адресата і внаслідок цього впливу на його поведінку. Вони є найбільш спеціалізованими засобами вираження спонукальної семантики і регулярно функціонують у мовленні.

У зв'язку з тим, що конструкції з формами 2-ї особи наказового способу здатні передавати різні функції спонукальності, в ситуаціях, коли виникає необхідність чітко конкретизувати різновид волевиявлення, вдаються до перформативних засобів його вираження. Найпоширенішими серед них є перформативні дієслова спонукальної семантики типу *просити, радити, наказувати, пропонувати*. Розглянемо, що являють собою у структурному відношенні спонукальні висловлення з перформативними дієсловами.

Найчастіше перформативні дієслова беруть участь в організації простих спонукальних речень, в яких мовець перформативним дієсловом вказує на різновид спонукування, а додатком, вираженим інфінітивом, повідомляє зміст волевиявлення. Як правило, перформативне дієслово у таких спонукальних реченнях має форму 1-ї особи теперішнього часу недоконаного виду. Виняток становлять лише дієслова *просити, радити*, які можуть також вживатися у формі 1-ї особи майбутнього часу доконаного виду та у формі умовного способу. Наведемо приклади:

- а) — Я прошу розлучити нас... (А. Дімаров).
- б) — Пропоную передову сьогоднішнього номера вивісити на дошку кращих матеріалів і сплатити автору підвищений гонорар (В. Дрозд).
- в) — А от батькам дівчаток я б радила перед відправкою до табору поговорити з ними з усією серйозністю (Думська площа, 1999, 23 липня).
- г) Під час роботи секції вчителів української мови і літератури радимо використати матеріали журналу "Дивослово" № 8 за 1998 рік (сторінки 17-22), що подані під рубрикою "Методика, досвід, проблеми" (Укр. мова і література в школі, 1999, № 3).
- д) Пораджу вам звернутися до юриста (усне).
- е) Я просив би тебе не заважати нам (усне).
- е) — Я сержант Чехов. Від імені свого командира наказую вашим людям слідувати за мною (Григорій Тютюнник).

Синонімічними до речень цього типу є складні безсполучникові речення, побудовані таким чином: у першій частині вживається перформативне дієслово, що вводить пряму мову, яка яв-

ляє собою імперативну конструкцію. В таких реченнях спонукальна функція виражається лексичним значенням перформативного дієслова у формі 1-ї особи однини теперішнього часу, а дія, до якої мовець спонукає слухача, передається в другій частині речення лексичним значенням дієслова, вжитого у формі імператива. Слід зазначити, що при вираженні прохання розташування частини речення, яка вводить імперативну конструкцію, і конкретизуючої частини стосовно одна одної не є фіксованим, тобто в цьому випадку пряма мова може слідувати за перформативним дієсловом або, навпаки, передувати йому. Наведемо приклади:

- а) — *Прошу вас уклінно, — сказав м'яко дід, — розкажіть нам що-небудь...* (Ю. Яновський).
- б) *Не нагадуй мені про це, прошу тебе* (усне).
- в) — *Ще раз пропоную: йдіть з нами, — заговорив капітан* (Григорій Тютюнник).
- г) — *Раджу тобі серйозно і по-дружньому: пильно вчися* (Ю. Мушкетик).

Тут потрібно зазначити, що перформативні дієслова не тільки диференціюють функції спонукальності, а в деяких випадках і підсилюють прагматичність спонукальної конструкції з імперативом. Так, наявність у висловленні дієслів *благати, молити* підкреслює залежність мовця від волі адресата, і вживання цих дієслів у ситуації прохання покликане посилювати вплив на слухача з метою досягнення запланованого прагматичного ефекту. Наприклад:

- а) *Молю! Благаю! Не дивись!* (Л. Українка).
- б) *Синочки мої. Прийміть мого хлопця до себе. Благаю вас* (О. Довженко).

Аналіз спонукальних висловлень із вищезгаданими перформативними дієсловами дає підставу стверджувати, що найчастіше перформативні дієслова використовуються для передачі прохання і поради, рідше — пропозиції, а найменш характерним для них є вживання у висловленнях, які виражають категоричне спонукування, зокрема наказ.

У деяких ситуаціях спонукування, зокрема поради, прохання і пропозиції роль семантичних конкретизаторів спонукальної функції можуть виконувати відповідні іменники: *прохання, просьба, порада, рада, пропозиція*. Наприклад:

- а) *Маємо ще одне прохання до редакції: надрукуйте в газеті прізвища всіх нардепів, які проголосували за скасування п. 7, а також тих, хто утримувався* (Літ. Україна, 1998, 1 жовтня).
- б) *Моя порада: ніколи не пропускайте можливості ознайомитися з мистецтвом самобутнього художника з Черкас* (Урядовий кур'єр, 1999, 23 лютого).
- в) — *В мене є пропозиція, — зблиснула оченятами Марися Павлівна, — давайте назовем... "Бригантина!"* (О. Гончар).

Стиль спілкування мовця зі слухачем у тій чи іншій комунікативній ситуації виразно індивідуалізований і значною мірою залежить від того, якими є відношення між ними. Це можуть бути відношення, які пов'язані з соціальним статусом комунікантів і вимагають дотримання певних правил соціальної субординації. Крім того, існують відношення соціального контакту, що визначають реєстр комунікації (офіційний, нейтральний, неофіційний). Значну роль відіграє і ступінь психологічної близькості між комунікантами [1:75].

У ситуаціях пом'якшеного (прохання) та нейтрального (пропозиція, порада) спонукування мовець прагне викликати в адресата позитивні емоції. Це позначається передусім на виборі засобів мовленнєвого етикету, семантико-синтаксичної будови висловлень.

Так, у ситуації прохання природним є вживання усталених показників увічливості типу *будь ласка, будьте ласкаві, будьте добрі, як ваша ласка* тощо. Наприклад:

- а) — *Леоніде Леонідовичу, охарактеризуйте, будь ласка, стан справ у галузі* (Урядовий кур'єр, 1999, 24 лютого).
- б) — *Одчиніть, будьте ласкаві* (А. Дімаров).
- в) — *Як ваша ласка, прийдіть на поміч! — просить Семенюта, — наші веліли, сходи до родичів!.. боюсь казати, що сталося* (В. Барка).

Високим ступенем мовленнєвої етикетності відзначаються спонукальні конструкції з формами умовного способу, а також питально-спонукальні конструкції. Тому досить характерним є вживання цих засобів для вираження прохання і пропозиції. Використання вищеназваних конструкцій у ситуації прохання допомагає якнайточніше передати комунікативну дистанцію між учасниками спілкування, а також висловити прохання в делікатній формі. Пропозиція, виражена такими спонукальними реченнями, звучить особливо гречно і ненав'язливо.

Аналіз матеріалу засвідчує, що найчастіше при вираженні прохання у мовленні послуговуються питально-спонукальними реченнями, побудованими за такими моделями:

1) частки *чи, не* на початку речення, предикативний член у формі умовного способу:
 а) — *Чи не були б ви ласкаві пограти?* (В. Підмогильний);
 б) — *Мамо, а чи не принесли б ви мені мисочку узвару?* — звернувся він до своєї матері (О. Довженко);

2) частки *чи, не* на початку речення, предикативний член у формі 2-ї особи однини чи множини майбутнього часу доконаного виду:

а) — *Чи не підвезете часом до міста?* (М. Стельмах);

б) — *Чи не допоможете мені в одній справі?* (усне);

3) з предикативним членом у формі 2-ї особи майбутнього часу доконаного виду:

а) — *Антоне Степановичу, я сходжу до тітки в Сивогори. Проведете?* (Л. Пономаренко);

б) — *Сергію, мене підкинеш в одне село?* (М. Стельмах);

4) односкладне речення з присудковим словом *немає*:

а) — *Мамо, нема ще юшки?* (Л. Українка);

б) *У тебе олівця зайвого нема?* (усне).

Для висловлення пропозиції найбільш широко використовують такі питально-спонукальні конструкції:

1) з простим інфінітивним головним членом, найчастіше за наявності вставного слова *може*:

а) *Може, позичити тобі трохи грошей?* (усне);

б) — *У нас люблять, аби люди вволю гостились... Налити вам?* (О. Гончар);

2) з предикативним членом у формі 1-ї особи множини майбутнього часу доконаного виду, найчастіше за наявності вставного слова *може*:

а) [Микола] *Душно тут. Може, пройдемо?* (О. Коломісць);

б) — *Спробуємо завтра? — Спробуємо, — охоче погодився Тур* (М. Стельмах);

3) з предикативним членом у формі 2-ї особи майбутнього часу доконаного виду з обов'язковою наявністю вставного слова *може*:

а) *Може, візьмеш її з собою?* (усне);

б) *Може, порадишся з лікарем?* (усне);

4) з питальним займенниковим словом *чому* і предикативним членом із заперечною часткою *не* у формі умовного способу або у формі 2-ї особи майбутнього часу доконаного виду:

а) *А Вашу замітку чому не спробуєте дати до "Молодої України"?* (Л. Українка);

б) *Чому б тобі не написати її листа?* (усне);

5) еліптичне речення з нульовим присудком і додатком, вираженим іменником у родовому або знахідному відмінку (найчастіше без прийменника) з обов'язковою наявністю вставного слова *може*:

а) *Може, хліба?* (усне);

б) — *А може, кави?* (Б. Янчук);

в) — *Пора нам батьків провідати.*

— *Може, в неділю?* (усне);

6) речення з присудковим словом *хочете* і додатком, вираженим іменником у родовому відмінку без прийменника або знахідному відмінку:

а) — *Дядю, — підхопився хлопчик, — хочете молока?* (Ю. Мушкетик);

б) *Хочеш грушу?* (усне).

Як уже зазначалося, у функції спонукування можуть використовуватись форми умовного способу, для яких ця функція є вторинною, транспонованою. Слід підкреслити, що спонукальне значення оптативних речень є ситуативно зумовленим: висловлення, що виражає бажання суб'єкта мовлення, набуває характеру адресованого волевиявлення у тих випадках, коли ситуація включає апелятивність і наявність суб'єкта, який повинен стати виконавцем бажаної мовцевої дії. Приклади:

Прохання:

а) — *Зняли б мені, синочки, зараз і верстата* (В. Логвиненко).

б) — *Остався б ти, Карпе, вдома. Брався б за господарство, — тихо попросила Олена* (М. Стельмах).

Порада:

а) — *Женилися б і не ходили по їдальнях та буфетах, — співчутливо радила Килина* (Є. Гуцало).

б) — *Ти б відпочив, Дмитре, ці дні. Як схуд і почорнів за весну, — навіть не натякнула про те, що трапилось* (М. Стельмах).

Пропозиція:

а) — *То, може, приніс би я цегли й цементу, підмурував, поки надворі тепло й погріб порожній* (Є. Гуцало).

б) *Макар Іванович аж занадто клопітливо до нього:*

— *Гришо, так, може б, ти той... моє надяг тим часом, з коміром* (А. Головка).

Як бачимо з прикладів, існує досить велика кількість різноманітних етикетних засобів вираження спонукання, це дозволяє у мовленні варіювати їх. Здійснений аналіз питально-спонукальних конструкцій засвідчує, що між ними існує певна градація за ступенем увічливості. Так, найбільш увічливими є речення з частками *чи, не* та предикативним членом у формі умовного способу (*Чи не могли б ви зачинити вікно?*). Їх мовець вживає тоді, коли усвідомлює, що здійснення його бажання може обтяжити співрозмовника, а такі форми вираження прохання надають адресатові зручну можливість відмови.

Існують і деякі характерні особливості використання висловлень з формами умовного способу, зокрема в ситуаціях пропозиції. Речення типу *Може, пообідаємо? Може, поїдемо сьогодні?* вживаються у нейтральному реєстрі при будь-яких відношеннях між комунікантами. При віддаленій соціально-психологічній дистанції мовці часто використовують речення типу *Чому б вам не поговорити про це з директором?* Тут доречно зазначити, що в неофіційній обстановці учасники спілкування, які є рівними за своїм соціальним статусом чи перебувають у приятельських стосунках, віддають перевагу реченням, у яких присудок виражений формою наказового способу, утвореною сполученням частки *давай (давайте)* з інфінітивом або з дієсловом у 1-й особі майбутнього часу доконаного виду (*Давай поїдемо до міста! Давайте поплаваємо! Давайте збирати гриби*). Використовуються також конструкції з формою 1-ї особи множини наказового способу (*Ходімо на вулицю! Сідаймо до столу*).

У ситуаціях спонукання адресат може ставитись до каузованої дії по-різному. В одних ситуаціях його ставлення до дії невідоме (наприклад, у ситуації пропозиції, поради), в інших слухач може виражати небажання чи незгоду виконати дію, до якої його спонукають (наприклад, в ситуації прохання). У тому разі, коли адресат чинить опір волі мовця або мовець передбачає цей опір, добираються найвиразніші засоби висловлення спонукання. Так, присутність цієї ознаки в пом'якшеному спонуканні зумовлює вираження посиленого прохання, перехід його в інший варіант спонукання — благання чи упрощування.

Як показали дослідження, з метою інтенсифікації спонукальної сили висловлення у спонукальну конструкцію мовець нерідко вводить звертання, яке виражає емоційну оцінку. В залежності від характеру емоційної оцінки, яка міститься у слові (сполученні слів), що входить до складу звертання, спонукання може набувати більшої категоричності або, навпаки, пом'якшуватись. Так, якщо в ситуаціях нейтрального спонукання (наприклад, поради, пропозиції) мовець найчастіше послуговується нейтральними звертаннями, які покликані допомогти йому встановити контакт із слухачем, забезпечити активізацію уваги слухача на тій дії, до якої його спонукають, то для ситуацій упрощування, благання характерним є використання звертань у формі з позитивним емоційним забарвленням, що уможливило передачу мовцем всього спектру його почуттів і досягнення запланованого прагматичного ефекту. Наприклад:

а) — *Та... Василечку! — благає менший брат. — Не проганяй, Васильку* (М. Нечай);

б) — *Пані моя, голубочко моя! Порятуйте мене, бідну, порятуйте хоч ви!* (Л. Українка).

При вираженні категоричного спонукання мовцеві немає необхідності старатися викликати в адресата позитивні емоції, адже домінантною диференційно-семантичною ознакою ситуацій категоричного спонукання є 'залежність адресата від волі мовця'. Тому в ситуаціях вимоги, наказу, команди звертання вживається дуже рідко.

Аналіз засобів вираження функцій спонукальності також показує, що у таких спонуканнях, як наказ, команда, які проголошуються в усній формі в ситуаціях дефіциту часу, прагматичний ефект досягається лаконічністю форми їх вираження. Так, для ситуацій наказу дуже характерне вживання речень з простим головним інфінітивним членом без частки *би* (б). І хоча інфінітивні речення нерідко використовуються й для передачі функції пропозиції, можна спостерігати таку закономірну відмінність: функція пропозиції виражається питальними конструкціями з інфінітивом, а функція наказу — окличними інфінітивними реченнями. Порівняймо:

Наказ:

а) — *Мовчати!* — строго наказав лейтенант (М. Нечай).

б) Наглядач закрив "кормушку", а тоді відчинив двері й сів на порозі, за ним стояв ще один наглядач. — *Встати!* (І. Багрянний).

Пропозиція:

а) — *Вам допомогти?* (А. Дімаров).

б) *Купити тобі морозиво?* (усне).

Що ж до використання речень з простим головним інфінітивним членом без частки *би* (б) для вираження інших функцій спонукальності, то у досліджуваних текстах траплялися лише поодинокі випадки, коли інфінітив виражав прохання: *Оленка притулилася до матері: Їсти!..* (В. Барка); — *Пити, пити, — знов хрипить поранений і крутить головою так, наче душить його ремінець каски, хоч каска лежить перекинута осторонь, печеться на сонці* (О. Гончар). Отже, з усього сказаного можна зробити висновок, що окличні інфінітивні речення є важливим синтаксичним засобом лінгвістичного контексту, який сприяє розмежуванню наказу з іншими функціями спонукальності.

Функція команди є варіантною стосовно функції наказу. Цей різновид наказу пов'язаний з функціональною приналежністю до офіційно-ділового мовлення. Існує цілий набір військових команд, кодифікованих статутами, вживання яких характерне для стандартних ситуацій, в яких каузована дія звичайно заздалегідь відома її потенційному виконавцю [5:173]. Це, наприклад, такі усталені слова та словосполучення: *Струнко! Вільно! Кругом! В шеренгу шикуйсь! Кроком руш! Розійдись! Підйом! За мною! До бою! Вогонь! В атаку! Лягай! Зарядити зброю! Перевірити приціл!* тощо. З військовими командами дуже схожі спортивні (*На старт! Старт!* і т. д.) або ті лаконічні команди, які віддає хірург своїм асистентам під час операції (*Затискач! Пінцет! Скальпель!* і т. д.). Як бачимо з прикладів, переважна більшість команд виражається еліптичними реченнями.

У спонукальні висловлення з формами наказового способу можуть включатися частки, прислівники, а також вставні сполучення слів з метою пом'якшення чи підсилення спонукування або надання йому якихось інших додаткових відтінків, наприклад, фамільярності. Часто ці лексико-семантичні засоби відіграють суттєву допоміжну роль у вираженні функцій спонукальності, допомагають розмежувати у мовленні різні прагматичні значення поліпрагматичних мовних одиниць.

Так, значно пом'якшує волевиявлення вставне слово *може* з модальністю непевності, яке нерідко вводиться у питально-спонукальні конструкції при вираженні пропозиції та поради: *Може, перепочинемо?* (усне); — *Може б ти відмовився, доки не пізно?* (Григорій Тютюнник). У ситуаціях пропозиції таку ж функцію може виконувати сполучення слів *чи що*, коли воно стоїть у спонукальному висловленні після дієслова, яке виражає зміст волевиявлення: — *Спершу промиємо рану водою, а там побачимо... Понесли його, чи що...* (Є. Гуцало); — *Давай присядемо, чи що...* (Є. Гуцало). Частка *хоч* може бути інтенсифікатором функції прохання, що пов'язано з притаманним цій частці обмежувально-видільним відтінком. Її можна вважати одним із додаткових контекстуальних показників посиленних варіантів функції прохання — упрошування чи благання: [*Орина*] *Драстуйте-драстуйте, татонько мій рідний!.. Хоч иматочок дайте... Хоч шкуриночку, мій боженько...* (М. Куліш); *І кричала та мати: — Хоч личко його покажіть!* (Л. Костенко).

Для передачі поради разом із формами 2-ї особи наказового способу часто використовують у реченні слово *краще*. Якщо дієсловом у формі наказового способу мовець спонукає адресата до дії, то прислівником *краще* він підкреслює, що саме така дія є доцільною в даній ситуації. Наприклад:

а) *Або ще краще — відвідайте його лекції, які він з осені знову буде читати по суботах* (Урядовий кур'єр, 1998, 12 вересня);

б) *Краще зателефонуй їй додому* (усне);

в) — *Вона й так у вас дуже нервова. Ви краще спокійно поговоріть з нею* (А. Дімаров).

Контекстуальними показниками функції пропозиції у спонукальних висловленнях можуть виступати частка *ось* або сполучення слів *знаєш що* (*знаєте що*), коли вони стоять перед дієсловом, яке виражає спонукування. Ці елементи контексту виконують у спонукальному висловленні декілька функцій: акцентують увагу адресата на дії, вираженій імперативом, пом'якшують спо-

нукання і служать для адресата свого роду сигналом того, що йому буде зараз висловлено саме пропозицію, а не якийсь інший різновид спонукання. Наведемо приклади:

- а) [Лизя:] *Що запашині — міри нема! Ось пошохайте* (М. Куліш).
- б) [Оленка] *Ось випийте, дядьку, вам легше стане...* (О. Коломієць).
- в) — *Знаєте що, давайте чай пийте!* — раптом запропонував він і, не чекаючи на згоду, почав відв'язувати чайник! (А. Дімаров).

Серед морфологічних засобів, які відіграють допоміжну роль у передачі модально-експресивних відтінків спонукання, особливу увагу мовознавців привертає категорія виду дієслова. Спираючись на праці Д. М. Шмельова, А. В. Немешайлової, присвячені цьому питанню, а також на власний аналіз матеріалу, можна стверджувати, що категорія виду дієслова певною мірою сприяє диференціації функцій спонукальності. Загальновідомо, що категорія виду у формах наказового способу, як і у решті дієслівних форм, головним чином виражає якісну характеристику дії. Дієслова доконаного і недоконаного виду не закріплені за тією чи іншою функцією спонукальності. Однак помічено, що форми наказового способу дієслів недоконаного виду звичайно відрізняються від синонімічних їм форм наказового способу дієслів доконаного виду більшою імперативністю, більшою вимогливістю волевиявлення. Тому дієслова доконаного виду вживаються переважно для вираження прохання, а дієслова недоконаного виду найчастіше використовуються для вираження вимоги, наказу [3:263]. Цей контекстуальний показник категоричного спонукання (форма недоконаного виду) притаманний спонукальним висловленням з формами наказового способу 2-ї особи. Порівняймо:

Наказ:

- а) — *Пропускай*, — наказав Недремний (М. Стельмах).
- б) — *Чумаченко! — Складайте акта!* — наказав Кисіль головному агрономові (М. Стельмах).

Прохання:

- а) — *Хлопчика, святий отче, привезли охрестити. То не відмовте, бо здалеку ми* (Григорій Тютюнник).
- б) — *Тату, взьміть мене з собою* (М. Стельмах).

Однією з істотних характеристик мовленнєвого акту спонукання є його ситуативність, тому спонукальні конструкції необхідно розглядати в рамках мовленнєвої ситуації з урахуванням ряду екстралінгвістичних чинників. У художній літературі джерелом тієї контекстуальної інформації, яка за своїм змістом ситуативна, є текст, що оточує спонукальні висловлення.

Аналіз ситуативного контексту слід починати із з'ясування типу ситуації, в якій відбувається спілкування. Це можуть бути, наприклад, громадські інституції (суд, лікарня, військова частина і т. д.), приватні інституції (сім'я) тощо. Потім звертаємо увагу на соціальні відношення між учасниками комунікативного акту. Окрім соціальних відношень слід також враховувати конвенціональні настанови (правила, закони, принципи, норми, моральні цінності), котрі визначають, які дії асоціюються з конкретними функціями. Під функціями в даному випадку розуміється більш чи менш фіксований набір властивостей і відношень (наприклад, рід занять: суддя, білетний контролер, а також відношення типу хазяїн і гість, батько і син, продавець і покупець тощо) [3:24, 30]. Так, озброєна людина може наказувати іншій людині. Її статус у даному випадку впливає не з її соціального становища, а з факту наявності у неї зброї.

Продемонструємо на конкретних прикладах, як засоби ситуативного контексту допомагають диференціювати функції спонукальності, виражені односкладними реченнями, граматичну основу яких становить одне й те саме дієслово *відчинити* у формі 2-ї особи наказового способу.

1. Уривок із повісті "Іскри прощального вогнища" В. В. Мальця:

Нараз кроки знову наблизилися до дівчачої палати. Рішучі, впевнені.

Нетерплячий, вимогливий стук у двері.

— *Дівчата, відчиніть!*

Голос начальника табору. Еге, справи серйозні...

— *Тримайтеся, — тихенько, ледь чутко писнув чийсь дівчачий голос.*

У наведеній ситуації відношення між учасниками комунікативного акту субординаційні (мовець — начальник табору, адресат — учні, які відпочивають у ньому). Згідно з конвенціональними настановами мовець у даному разі має право наказувати, вимагати. Вирази "*кроки рішучі, впевнені*", "*нетерплячий, вимогливий стук у двері*" є тими паралінгвістичними засобами, які істотно доповнюють характеристику ситуації, вказують на її напруженість. Таким чином, можна зро-

бити висновок, що у висловленні *"Дівчата, відчиніть!"* дієслівна форма 2-ї особи наказового способу виражає вимогу.

2. Уривок з повісті "Земля під копитами" В. Дрозда:

— *Хто там?*

— *Я, Фросю, Степан. Одчини.*

У голосі його не було твердості, лише просьба, жебрацьке моління про милість.

Тип ситуації — неформальна, міжособистісна. З допомогою паралінгвістичних контекстуальних засобів (*"у голосі не було твердості"*, *"жебрацьке моління про милість"*) визначаємо, що мовець залежить від волі адресата. Отже, засоби ситуаційного контексту яскраво вказують, що спонукальне висловлення, виражене дієслівною формою 2-ї особи наказового способу, в даній ситуації передає прохання.

Аналіз засобів вираження функцій спонукальності дає нам підстави зробити такі висновки:

1. У досягненні прагматичного ефекту спонукального висловлення мовець вибирає оптимальний засіб вираження волевиявлення, орієнтуючись на відношення між ним і адресатом, місце спілкування, психологічний клімат ситуації, знання мовних засобів вираження спонукування та досвід використання їх у комунікативних ситуаціях.

2. Існують загальноприйняті правила (принципи, постулати) мовленнєвого спілкування, яких його учасники у мовленнєвих ситуаціях стараються дотримуватися. Наприклад, у ситуаціях прохання, поради, пропозиції основним є принцип увічливості. Тому для їх вираження часто використовують усталені мовні форми з високим ступенем мовленнєвої етикетності: традиційні показники ввічливості (*будь ласка, будьте добрі*), питально-спонукальні конструкції (*Чи не могли б ви зачекати кілька днів?*), висловлення з формами умовного способу (*Відпочила б ти трохи*).

3. Для ефективності вираження окремих видів спонукування, як, наприклад, команди, в мові навіть склалась усталена (військова, спортивна) термінологія (*Вільно! Кроком руш! На старт! і т. д.*).

4. Прагмалінгвістичний аналіз мовних засобів вираження функцій спонукальності дає можливість простежити взаємодію лінгвістичної структури висловлення і контексту, забезпечує правильне визначення ефективності використання тих чи інших лінгвістичних одиниць у мовленнєвій діяльності.

1. Беляева Е. И. Функционально-семантические поля модальности в английском и русском языках. — Воронеж, 1985.

2. Дейк ван Т. А. Язык. Познание. Коммуникация. — М., 1989.

3. Немешайлова А. В. Использование категории вида глагола в качестве средства выражения характера побуждения и его эмоциональных оттенков // Вопросы синтаксиса и стилистики русского литературного языка: Тр. III-IV конф. кафедр русского языка пед. ин-тов Поволжья. — Куйбышев, 1963.

4. Теория функциональной грамматики: Темпоральность. Модальность. — Л., 1990.

5. Храковский В. С., Володин А. П. Семантика и типология императива. Русский императив. — Л., 1986.

УДК 811.111'367.623

О. О. Устинова

Проблеми дієприкметника II у сучасній англійській мові

Дієприкметник II — одне з найбільш складних і суперечливих явищ у сучасній англійській мові. Незважаючи на значний інтерес науковців до цієї дієслівної форми, багато питань, пов'язаних з дієприкметником II, ще не розв'язано. Зокрема, Б. О. Ільш зазначає, що "дієприкметник II містить багато особливих труднощів для аналізу" [2:132]

Перша з нерозв'язаних проблем — відсутність єдиного терміна для цієї граматичної форми (ми в цьому плані проаналізували 50 джерел, переважно праці англійських та американських лінгвістів 60-90-х років XX ст.). Найбільш поширеним для назви *дієприкметник II* є термін *дієприк-*

метник минулого часу (past participle): 32 лінгвісти (Дж. Ліч 1992, Д. Бомонт і С. Гренджер 1989, Р. Айткен 1992 та ін.) визнають і вживають саме цей термін. Порівняно часто (зафіксовано 9 уживань — Л. С. Маркова 1972, Ф. І. Маулер 1983 та ін.) вживано термін *дієприкметник II* (participle II) та терміни: *-ed дієприкметник* (-ed participle) (Д.Крістал 1988, М.Суон 1995); *-ed прикметник* (-ed adjective) (Дж. Елсоп 1993, Л. Г. Александр 1990); *-ed форма* (-ed form) (Дж. Ліч 1991, Р.А.Клоуз 1992) — засвідчені по 6 разів кожний. Помічено тільки одиничне вживання для назви дієприкметника II термінів *-ed дієслівний дієприкметник* (-ed verb participle) (Г. Гетін 1992), *віддієприкметниковий прикметник* (participial adjective) (Ф. І. Маулер 1983), *-ed слово* (-ed word) (Дж. Елсоп 1993).

Практично майже всі лінгвісти оперують не одним, а зразу кількома термінами. Так, наприклад, Л. Г. Александр (1988) використовує в своїй праці зразу сім термінів: *дієприкметник минулого часу* (past participle), *ад'єктивізований дієприкметник минулого часу* (adjectival past participle), *ад'єктивізований дієприкметник на -ed* (adjectival participle in -ed) та ін.. Таких прикладів досить багато. Тільки в 14 джерелах з 50 мовознавці дотримуються єдиного терміна — *дієприкметник минулого часу* (past participle).

Помітно, що й самі лінгвісти відчувають незадоволення від наявності численних і чітко не визначених термінів для цієї дієслівної форми. Серйозної критики та заперечень зазнає, зокрема, найбільш частотний термін *дієприкметник минулого часу*. М. Льюїс (1986), наприклад, називає цей термін “плутаним” (confusing), пояснюючи, що позначувана ним граматична форма використовується також для утворення перфекта теперішнього часу і всіх форм пасиву. Сам автор віддає в цьому випадку перевагу термінам *складена форма* (compound form) або *третья форма дієслова* (the third form). З ним солідаризується В.Л.Каушанська (1973), як і М. Льюїс, заперечуючи термін *дієприкметник минулого часу* і підтримуючи термін *дієприкметник II*. Цієї ж точки зору дотримується і М. Суон: “Дієприкметник теперішнього часу і дієприкметник минулого часу — не дуже гарні терміни: обидві форми можна використати для творення минулого, теперішнього і майбутнього” [10,451].

Ми і далі будемо вживати термін *дієприкметник II* як робочий та найбільш нейтральний.

Другою нерозв'язаною проблемою залишається невизначеність обсягу поняття “дієприкметник II”: чи слід до поняття “дієприкметник II” вводити і складені частини присудка — форми перфекта і пасивного стану — чи обмежитися випадками вживання цієї форми поза складом присудка? Ця проблема представлена, в основному, трьома точками зору.

Окремі англісти, наприклад М. Льюїс, розуміють дієприкметник II досить вузько. На їх думку, це, перш за все, складова частина форми перфекта і пасивного стану (інші вживання цієї форми вони відносять до прикметника): “У більшості випадків ця форма вживається із допоміжним дієсловом” [9:161].

Дещо ширше розуміють дієприкметник II Дж. Ліч і Я. Свартвік, які, крім вищевказаних випадків, відносять до дієприкметника II і вживання цієї форми у так званих “-ed дієприкметникових зворотах” (-ed participle clauses) [8:224], зокрема:

— уживання дієприкметника II у означувальній функції в постпозиції до означуваного слова (The only car yet repaired by that mechanic is mine [8:249]);

— уживання дієприкметника II в обставинній функції, а саме:

а) в обставинах допусту (Though defeated, he remained a popular leader [8:152]);

б) в обставинах часу — саме так функцію цього дієприкметника II визначають автори (Cleared, the site will be very valuable [8:144]);

с) в обставинах умови — теж за визначенням авторів (Cleared, the site would be very valuable [8:144]);

д) в обставинах способу дії (Covered with confusion, she hurriedly left the room [8:194]);

— уживання дієприкметника II в функції відокремлених означень (The castle, abandoned by its owner, was allowed to fall into ruin [8:275]);

— уживання дієприкметника II у складі “об'єктного звороту з дієприкметником” (They found her hidden in a cellar [8:224]);

— уживання дієприкметника II в “абсолютній дієприкметниковій конструкції” (The job finished, we went home straight away [8:194]).

Характерно, що в розділах, присвячених безпосередньо дієприкметнику II, Дж. Ліч та Я. Свартвік не згадують уживань цієї форми в означувальній функції у препозиції до означува-

ного слова. Однак у інших розділах, зокрема в розділах “Прикметники” і “Премодифікатори”, про цю функцію побіжно згадується; наводяться такі приклади: the escaped prisoner [8:175]; He’s rented a converted cottage [8:251]. Отже, позиція авторів щодо вживання дієприкметника II у функції означення в препозиції залишається неясною — незрозуміло, пов’язують автори цю функцію з дієприкметником чи з прикметником.

Точку зору Дж. Ліча й Я. Свартвіка про обсяг дієприкметника II поділяють Е. Уайнер (1987), М. Суон (1994) та ін. Що ж до Е. Уайнера, то, розглядаючи функції дієприкметника I і II в одному розділі, він ілюструє дієприкметник II тільки одним прикладом у функції обставини способу дії (We both lay there, propped on our elbows). Неясно висловлюється автор і щодо випадків уживання дієприкметника II в означувальній функції в пре- і постпозиції: “...дієприкметник використовується атрибутивно як прикметник” [6:46].

Інша група англістів, навпаки, виражає сумнів про доцільність віднесення до дієприкметника форми перфекта і пасивного стану. Так, Б. О. Ільїш, зокрема відзначає: “Коли другий дієприкметник є частиною аналітичної форми, він втрачає деякі з своїх характеристик, і, дійсно, ми можемо сумніватися, чи варто йому в цих випадках іменуватися дієприкметником” [2:133]. Можливо, тому в розділі його монографії, присвяченому дієприкметнику II, Б. О. Ільїш обмежується розглядом цієї форми поза складом присудка [2:132-135]. Поділяє погляди Б. О. Ільїша і Н. М. Раєвська. Вона пояснює, що особові форми дієслова протиставляються неособовим тому, що “перші, як відомо, функціонують як предикати, а останні можуть виконувати будь-яку функцію в реченні, за винятком функції присудка” [4:179]. При цьому вона посилається на Б. Стренга, який у понятті “finitude” (бути особовою формою дієслова) бачить “властивість існувати або не існувати, на яку накладають обмеження дві узгоджені між собою категорії особи і числа” [4:179].

Існує ще одна компромісна точка зору про достатньо широкі межі дієприкметника II. З одного боку, дієприкметником II називається складена частина аналітичних форм дієслова, з другого — інші випадки, які функціонують поза складом присудка. При цьому обидва типи дієприкметника існують нібито паралельно (омонімічно) і розглядаються у різних розділах граматики. Перший тип, як правило, розглядається у складі особових форм дієслова — перфекта, стану; другий — виділяється в спеціальний розділ “Дієприкметник II”. Так, Л. С. Бархударов і Д. А. Штелінг вважають, що “дієприкметник I і дієприкметник II лежать в основі всіх аналітичних форм дієслова”; у розділі ж “Непредикативні форми дієслова” є окремий підрозділ, присвячений дієприкметнику II [1:211; 229-233]. Цієї точки зору дотримуються Й. М. Берман (1977), І. П. Іванова (1981) та ін. Як бачимо, питання про обсяг дієприкметника II залишається відкритим.

Дослідження дієприкметника II ускладнюється третьою проблемою: не розв’язано питання про місце цієї форми в системі частин мови.

Досить поширеною в англійському мовознавстві є думка, що дієприкметник II — окрема частина мови. Слушним і традиційним це твердження вважає Л. Теньєр: “Традиційний синтаксис розрізняє десять класів слів, названих частинами мови і виявлених у більшості мов: артикль, іменник (ім’я), прикметник, займенник, дієслово, *дієприкметник*, прислівник, прийменник, сполучник і вигук” [5:62]. Але Б. Є. Зернов (1986) свідчить, що цієї точки зору дотримуються тільки деякі англійські граматисти — У. Буллокар, Ч. Бутлер і Б. Джонсон.

Більшість граматистів (Ю. О. Жлуктенко 1960, К. М. Качалова 1964 та ін.) відносять дієприкметник II до дієслова, розглядаючи його у складі неособових дієслівних форм. Але, в принципі дотримуючись цієї тези, лінгвісти розходяться у твердженнях про ступінь “пов’язаності” дієприкметника II з дієсловом.

Б. О. Ільїш, наприклад, вважає дієприкметник II власне дієслівною формою. Свідчення цього — термін “іменні функції” щодо дієприкметника II він взагалі не вживає. Випадки-приклади, де ці функції все ж виявляються (*written work*, *devoted friend*), він називає “ад’єктивізованими”, тобто такими, що перейшли до розряду прикметників [2:132-134].

Значна група англістів вважає дієприкметник II формою, яка вміщує у собі й дієслівні, й іменні риси (В. Л. Каушанська 1973, М. Суон 1995 та ін.). Так, наприклад, визначаючи дієприкметник II, Н. О. Кобріна (1985) називає його неособовою формою дієслова з *дієслівними* та *ад’єктивними* рисами. В. Л. Каушанська вказує, що дієприкметник II має вербальний та *ад’єктивний* або *адвербіальний* характер. Подібну точку зору висловлює і Л. С. Маркова (1972), яка відзначає, що дієприкметник має ознаки дієслова, *прикметника* й *прислівника*.

Думку, що дієприкметник II тісніше “пов’язаний” з прикметником, ніж з дієсловом, висловлює В. Я. Плоткін: “У цілому, комбінаторні властивості дієприкметника II ближчі до *ад’сктивних*, ніж до дієслівних”, і називає його утворенням, що виходить з поля дієслова і тяжіє до поля прикметника [3:107-108]. Такої самої думки дотримуються Л. С. Бархударов і Д. А. Штелінг (1963), визначаючи місце дієприкметника II на “периферії дієслівної системи”. Про те, що дієприкметник II знаходиться на периферії дієслова, пише і О. І. Бродович (1983).

Досить поширеною, особливо в зарубіжному мовознавстві, є точка зору, згідно з якою дієприкметник II розподіляється поміж двома частинами мови: одна частина вживань цієї форми відноситься до прикметника, інша — до дієслова. Прикладом такого підходу може служити класифікація частин мови Г. Суїта (1985). Таку ж позицію щодо дієприкметника II займають Дж. Ліч і Я. Свартвік (1983). Випадки вживання форми дієприкметника II у складі перфекта, пасиву й «-ed дієприкметникових зворотів» (-ed participle clauses) вони відносять до дієслова, останні ж випадки розглядають у складі прикметника. Дж. Еллсон (1993), на відміну від вищезгаданих лінгвістів, зараховує до прикметника більшу частину вживань дієприкметника II. Про це свідчить спеціальний підрозділ “Дієприкметники” у розділі “Прикметники”. До дієслова ж включено лише складені частини форм перфекта і пасивного стану, а також дієприкметник II у складі дієслівного “зразка” “Pattern Vt + Obj + Past Participle”.

У зарубіжній лінгвістиці часто можна натрапити на висловлювання типу “дієприкметник (дієслово), що функціонує (використовується) як прикметник” (Дж. Еллсон 1993, Л. Г. Александр 1988 та ін.). Поряд трапляються й фрази “дієприкметник — віддієслівний прикметник” (А. Дж. Тейлор 1990), “дієприкметник — модифікатор підмета, додатка і комплемента”, “дієприкметник, уживаний як прислівник” (Х. Харрісон 1963). А. Дж. Тейлор, зокрема, пише: “Дієприкметники — віддієслівні прикметники, інакше кажучи, це прикметники, утворені від дієслів” [34:58]. Особливо показове в цьому плані спостереження Дж. Еллсона: “За прикметниками на -ed часто іде *by*, особливо, якщо -ed слово може виступати як віддієслівний дієприкметник минулого часу” [7,87]. У цих і подібних висловлюваннях щодо аналізованої форми, як бачимо, використовується взаємозаперечна термінологія (прикметник//прислівник//дієслово). Такий підхід суперечить законам логіки і робить позицію мовознавців ще заплутанішою. Очевидно, що у англістів є великі труднощі при визначенні статусу дієприкметника II як частини мови і ця проблема залишається дискусійною.

Слід зазначити, розв’язання потребують і питання про граматичне значення дієприкметника II, питання про місце дієприкметника II в системі неособових форм дієслова, питання, пов’язані з особливостями функціонування цієї форми тощо.

1. Бархударов Л. С., Штелінг Д. А. Грамматика английского языка. — М., 1963.
2. Ильин Б. А. Строй современного английского языка. — Л., 1971.
3. Плоткин В. Я. Грамматические системы в английском языке. — Кишинев, 1975.
4. Расвська Н. М. Теоретична граматики сучасної англійської мови. — К., 1967.
5. Теньер Л. Основы структурного синтаксиса. — М., 1988.
6. Уайнер Е. Английский язык: произношение, грамматика, словоупотребление. — М., 1987.
7. Allsop G. Student's English Grammar. — London, 1993.
8. Leech G., Svartvik J. A Communicative Grammar of English. — М., 1983.
9. Lewis M. The English Verb: an exploration of structure and meaning. — London, 1986.
10. Swan M. Practical English Usage. — Oxford, 1994.
11. Taylor A. J. Chambers English Grammar. — Edinburgh, 1990.

Іменник, підмет і додаток (специфіка взаємовідношень)

Загальновизнано, що мова — це єдине цілісне утворення, в якому кожен елемент підпорядкований цілому й, у той самий час, діалектично взаємопов'язаний з іншими компонентами системи. Проте, яку саме організацію має мова, за якою засадою розбудована та функціонує — ці питання ще й досі залишаються нез'ясовані.

Так, до цього часу не існує єдиної класифікації частин мови, єдиного розуміння синтаксичної організації мови. Не існує й ясності щодо питання про взаємовідношення між цими “рівнями” мови і, зокрема, про взаємовідношення між такими їх “репрезентантами”, які в традиційній термінології іменуються іменник та підмет, дієслово та присудок, прикметник та означення тощо. Одним словом, немає ясності в питанні про співвідношення між окремими частинами мови та членами речення.

У сучасній лінгвістиці існують два основні підходи до вирішення цього питання.

Згідно з першим, репрезентованим традиційним синтаксисом, взаємовідношення між частинами мови та членами речення будуються на засаді ізоморфізму. Причому при розкритті сутності останнього акцент робиться на протиставному моменті. Іменник протиставляється підметові, дієслово — присудкові, прикметник — означенню і т. д., як одиниці різних “рівнів”, які в практиці аналізу не можна змішувати.

Другий підхід, притаманний таким новітнім напрямкам мовознавства, як генеративізм, дескриптивізм тощо, взагалі не визнає поділу на морфологічну та синтаксичну підсистеми, подаючи їх під загальною назвою “синтаксис”. Що ж до таких понять, як іменник та підмет, дієслово та присудок, прикметник та означення, то замість них використовуються такі об'єднуючі терміни, як “іменна”, “дієслівна” та “прикметникова” фрази (NP, VP, AP). Як бачимо, при цьому підході акцент, на відміну від традиційного синтаксису, ставиться не на протиставному, а на об'єднуючому моменті.

Останнім часом, особливо в зарубіжному мовознавстві, все більшого розповсюдження набуває “компромісний” підхід — т. з. “граматики змішаного типу” [5:8]. В них, за влучним висловом В. М. Ярцевої, спостерігається тенденція “об'єднати по можливості форму та функцію” [там само]. До таких граматик належить, зокрема, “Університетська граматика англійської мови” Р. Кверка та співавторів [11], “Комунікативна граматика англійської мови” Дж. Ліча та Я. Свартвіка [10].

У цьому плані заслуговує на увагу й т. з. “теорія синтаксем” Г. О. Золотової, яка є нічим іншим, як своєрідною спробою створити на базі традиційних морфології і синтаксису в поєднанні з семантикою відмінків нову єдину, надрівневу мовну одиницю — синтаксему й у такий спосіб з'ясувати проблему структурування і функціонування мови [3; 4].

Яким же насправді є співвідношення між частинами мови і членами речення — між іменником та підметом, прикметником та означенням, зокрема?

Відповідь на це запитання слід, за нашим переконанням, шукати в поняттях “предикація” та “предикативність”, адже саме ці поняття фокусують у собі саму сутність природної мови, слугуючи ланцюжком, яким вона поєднується з мисленням, а через нього — і з об'єктивним світом. Лише пропустивши досліджувані “парні” частини мови і речення крізь призму предикації та предикативності, ми зможемо наблизитися до з'ясування сутності їх взаємовідношень. Тим більше, що підмет та додаток є безпосередніми складовими структури предикації, а іменник є саме тією частиною мови, яка в процесі мовлення реалізується в цих синтаксичних функціях.

Почнемо з першої морфолого-синтаксичної “пари: іменник — підмет (додаток).

Загальновідомо, що на самому початку формування природної мови сприйняття прадавньою людиною навколишнього світу було суцільним, нерозчленованим. Це світосприйняття знаходило певне відображення з перебігом звукового спілкування наших пращурів між собою — вигуках, висловлюваннях, які відображали певні враження від навколишнього світу, спонукання до сумісних дій тощо.

Цей тип світосприйняття найдавнішої людини, світосприйняття на рівні уявлень, відповідає предикативності — синтезові суб'єктивного з об'єктивним взагалі.

Проте поступово, в процесі свого розвитку, мозок людини починає усвідомлювати неоднорідність матерії, вичленовуючи з неї ту її частину, яка була найбільш доступною для спостереження (сприйняття). Найвірогідніше, це були саме субстанціальні компоненти матерії — окремі предмети, речі, адже саме вони відзначаються відносною тривалістю існування в часі, є найпомітнішими для ока, найвідчутнішими на дотик. Як результат цього процесу, що перебігав на рівні підсвідомості, з'являються перші номінації — “праслова”. Вони мають уже більш-менш чітке звукове окреслення, запам'ятовуються соціумом і передаються наступним поколінням. Імовірно, що перші “праслова” означали конкретні речі та предмети повсякденного життя, оточуючої природи. Інакше кажучи, з'являється клас “праіменників”. Функціонували ж вони в мові як прависловлення, поряд з висловлюваннями-вигуками, нерозбірливими (нечленороздільними) висловлюваннями-спонуканнями тощо.

Поступово “праслова” предметного значення починають вплітатися в канву нечленороздільних висловлювань як більш-менш окреслені у звуковому і смисловому планах самостійні одиниці, роблячи їх більш доступними для розуміння іншою людиною. Так поступово у висловлюванні окреслюється прообраз підмета, а саме висловлення починає структуруватись. Звідси висновок: праіменник — це, по суті, той же самий прапідмет, але реалізований в процесі мовлення.

Другий етап розвитку мови і мовлення зумовлений появою у людини здатності до абстрактного мислення. Спостерігаючи за навколишнім світом і, зокрема, за вже підсвідомо виділеними об'єктами матеріального світу, пралюдина починає усвідомлювати між ними певну спільність, приналежність до одного класу одиниць. Це означає, що у свідомості людини формується концепт субстанціальності. Звичайно, це не могло не відбитися на мові. “Праслова” зі значенням предметності теж починають усвідомлюватись як клас однорідних одиниць, що знаходить вираження в перших спробах їх морфологічного обрамлення. Свідченням наявності в свідомості концепту субстанціальності є й те, що цей клас мовних одиниць починає поповнюватися номінаціями, аналогів яким у природі не існує (поганські божества, представники т. з. “нечистої сили” тощо). Показово, що морфологічно вони оформлялися на зразок вже наявних одиниць предметного значення.

Слідом за концептом субстанціальності починають формуватися й інші концепти, зокрема, концепти таких “атрибутів матерії”, як специфіка її буття в часі, властивість. Це означає, що людина починає абстрактно мислити в певному розумінні цього слова, тобто робити “зрізи” з інших, ніж просто субстанціальність, властивостей матерії, запам'ятовує їх і називає. Так у мові з'являються слова з абстрактним значенням, певна частина з яких переосмислюється субстанціально й, відповідно до цього, оформлюється як вже існуючий клас слів предметного значення. Так поступово оформлюється клас іменників у сучасному розумінні цього терміна.

Своєрідним “апофеозом” розвитку абстрактного мислення було зародження в межах предикативності структури предикації. Цей процес став можливим у результаті усвідомлення існування субстанції (субстанціального компонента) в часі. Структура предикації, сутність якої полягає в специфічній “прив'язці” субстанціального концепта до “лінії часу”, є, по суті, нічим іншим, як концептуальним аналогом *процесу* об'єктивного світу, тобто об'єктивного світу (його структури) як такого. А раз так, то і — засобом його *осмислення*, концентрацію того, що і як саме людина *думав* про навколишній світ, інакше кажучи, — *носієм думки* [2:92-100]. Отже поняття предикативності стало включати в себе не лише усвідомлення дійсності на рівні уявлень (історично перший етап віддзеркалення), але й на рівні думок за допомогою структури предикації — найвищого, найдосконалішого етапу віддзеркалення.

У мові це знаходить відображення в структуруванні мовної предикації, яка, як і відповідна їй логічна предикація, є ядром висловлення, його смисловим “згустком”.

Однак віддзеркалення на рівні розвинутого абстрактного мислення, пов'язане з усвідомленням різноманітних проявів матеріального світу, передбачає не лише процес його аналізу (диференціації), а й супроводжується процесами його синтезування. Це не могло не спричинити “конфлікту” між обмеженістю мови, її засобів та нескінченністю і неповторністю оточуючого світу, які людина почала вже усвідомлювати і намагатися словесно виразити.

Вихід із цього “глухого кута” мова знайшла, спираючися на все те ж мислення. Як це трапилось, покажемо на прикладі класу одиниць зі значенням субстанціальності (іменників).

Як вже відзначалося, цей клас, збільшуючись кількісно, до певного часу цілком вдовольняв запити мислення (а разом з цим — і мовлення) прадавньої людини. У “прависловленні” він відігравав роль “прапідмета”, вказуючи на той чи інший предмет довкілля. Та в якийсь момент цього стало недостатньо. Людина починає наділяти ознаками субстанціальності (субстанціалізувати) цілі фрагменти об’єктивної дійсності, а іноді й процеси. Це були процеси, виразити які одним словом було неможливо, адже вони носили плинний характер і відображали не стільки природні закономірності, скільки особливості індивідуального сприйняття природи людиною.

Спосіб висловити це людина знайшла в абстрагуванні від лексичного змісту іменників та використовуючи в процесі мовлення лише граматичні показники останнього. Одночасно з цим мова, слідом за мисленням, вводить в дію механізм операцій “алгебраїчного” характеру над висловлюваннями, в результаті чого будь-який відрізок мовлення (фраза, речення тощо) може бути переосмисленим, як субстанціальний елемент x і як такий — включеним до складу іншого висловлювання.

У процесі мовлення цей відрізок оформлюється на зразок іменника — за допомоги його морфолого-синтаксичних показників. Прикладів цього в різних мовах немало. Наведемо лише деякі з них: *what the girls of her sort want is just a wedding ring* [6:32]. “Perhaps this *what’s-his-name* will provide the cocoa” [8:228].

Отже, іменник та підмет — поняття, діалектично взаємопов’язані між собою. Так, праіменник виростає з нерозчленованого висловлювання (предикативності)*, підмет — елемент структури предикації — розвивається з класу іменників, абстрагуючись від лексичного змісту останніх.

Спільним для обох понять є й те, що на рівні мислення вони співвідносяться з концептом субстанціальності, при цьому іменник — співвідноситься з усталеними, прийнятими усім мовним колективом концептами (вони зберігаються в пам’яті і зафіксовані в певних номінаціях), тоді як підмет віддзеркалює безпосередньо сам рух мислення — спонтанне формування концепту “субстанціальність” під тиском певних обставин реального життя.

Спираючись на вищезазначені ознаки, іменник можна визначити як клас мовних одиниць, які виступають лексико-граматичним засобом вираження усталеного, конвенціонального поняття “субстанціальність”. Підмет же — це мовленнєва одиниця, вона слугує суто граматичним засобом вираження спонтанного, плинного концепту “субстанціальність”, як суб’єкту думки. Додаток теж є граматичним виразником спонтанного концепту субстанціальність, але, на відміну від підмета, уже в ролі комплементу (завершувача) думки.

Різниця між підметом та додатком полягає в тій відносній “вагомості”, якою наділяє наш мозок субстанціальні компоненти суджень в процесах-відношеннях. Найбільш значущий, “вагомий” з точки зору сприйняття людини субстанціальний компонент виступає як суб’єкт мислення (думки).

Цей компонент, образно висловлюючись, є своєрідною “несучою опорою” думки, адже саме він “заломлюється” крізь призму часу, саме його специфіка існування розкривається предикатом. Цей субстанціальний компонент в судженні розгортається “en face”, що оформляється в реченні за допомогою називного відмінка.

Що ж до додатку, то він співвідноситься в судженні з “субстанцією”, роль якої зводиться виключно до того, щоб передати специфіку існування основної субстанції, яка втілюється в суб’єкті судження і специфіка існування якої в часі та просторі характеризується як перебування у певному відношенні з іншою субстанцією. Інакше кажучи, додаток семантично “завершує” процес відношення. Другорядна, фоновая роль компонента судження, який відповідає додаткові, виявляється в тому, що специфіка існування його в судженні не визначається. Ця субстанція не проектується на часовий прямий, її існування в часі зумовлюється тим, що вона знаходиться в певному відношенні з основною субстанцією. Специфіка презентації цієї, так би мовити, “другорядної субстанції” судження знаходить вираження і в її мовному оформленні. Подібно

* Галкіна-Федорук вважає, що слова-речі утворилися зі слова-процесу, а суб’єкт виділився з предиката [1:39]. При цьому стверджується думка, що “одночленне первісне речення, яке є словом-процесом, є, разом з цим, предикатом” [Там само]. Це підтверджує нашу точку зору про те, що праіменник (слово-річ) виник на базі нерозчленованого висловлювання, яке було нічим іншим як мовленнєвим виявом процесу предикативності. Суб’єкт же, як такий, розвинувся з праіменника — у процесі формування концепту “субстанціальність”, а також в результаті структурування предикативності.

до того, як людина, обробляючи певний предмет, повертає його до себе з різних боків, так і в судженні — мозок людини, наслідуючи реальні форми спілкування з навколишнім світом, подає “субстанцію-додаток” стосовно “субстанції-підмета” в різних ракурсах, залежно від специфіки існування останньої. В мові це відповідає оформленню в один з непрямих відмінків.

Отже, поняття “іменник”, “підмет” та “додаток” мають спільну онтологічну і, як наслідок, логічну природу. Їх об’єднує між собою поняття “субстанціальність”, розрізняються ж вони тим, що представляють це поняття в мові з урахуванням діалектики її суперечностей — у таких “опозиційних” підсистемах мови, як морфологія (статична підсистема) та синтаксис (динамічна підсистема), а також в таких його “різновидах”, як усталений, конвенціональний характер усвідомлення та плинний, індивідуальний.

Стисло кажучи, поняття “іменник”, “підмет” та “додаток” діалектично взаємопов’язані між собою, як з точки зору їх історичного розвитку, так і в плані синхронічного зрізу мови (мовлення). Про наявність “субстанціальної” спільності між цими поняттями свідчить і те, що школярі, а іноді й студенти, підсвідомо сприймають ці поняття саме як такі і часто в практиці аналізу плутають іменник з підметом та додатком. Спільна субстанціальна природа цих понять не пройшла поза увагою й лінгвістів. Найчіткіше ця думка висловлена Г. О. Золотовою, яка, визначаючи підмет, пише: “...суб’єкт речення (тобто підмет), — ...синтаксично незалежний субстанціальний компонент суб’єктно-предикатної структури, який означає носія предикативної ознаки. Це визначення має на увазі єдність та взаємозумовленість семантичної, синтаксичної і морфологічної ознак суб’єкта, дорозумлює вираження його іменником предметного значення” [3:133-134]. Свою точку зору вона підкріплює посиланням на Дж. Лайонза та О. О. Потебню [Там само]. Близькі за змістом є визначення іменника, підмета та додатка і у Б. О. Ільїша. Ці поняття поєднуються через слово “thing” (річ, предмет), з якими, на думку автора, вони співвідносяться в реальному житті [9:28, 199, 211].

Проте у більшості граматистів субстанціальність визнається лише за іменником, який визначається або як субстанція в найширшому розумінні цього слова [8:14], або ж — списком тих конкретних “субстанцій”, які він може виражати (назви речей, місць, живих істот, матеріалів, процесів, станів, властивостей тощо) [6:180]. Що ж до підмета та додатка, то співвідносність цих членів речення з концептом субстанціальності на логічному рівні залишається непоміченою, або ж свідомо замовчується. Найтиповішим визначенням підмета є, зокрема, визначення його як незалежного члена речення, з яким присудок узгоджується в числі і особі [8:225; 7:30]. “Приховується” й субстанціальний характер додатка [8:246; 7:52].

Та як би цього автори згаданих підручників не хотіли, якими б “обережними” не були, зовсім обійти субстанціальну природу цих членів речення їм ніяк не вдається. Вона все одно виявляється в інших розділах підручників, зокрема, у визначеннях присудка та категорії стану. Так, визначаючи присудок, В. Л. Каушанська та співавтори вказують на те, що цей член речення виражає дію, стан та властивість *особи або предмета*, які означає *підмет* [8:229]. Про те, що *підмет* здатен означати *предмет чи особу*, йдеться і у визначеннях активного та пасивного станів [Там само:82]. Н. О. Кобріна з групою співавторів, визначаючи стан, теж згадують про можливість підмета *виражати особу чи не-особу, тобто предмет* [6:70].

Отже, згадані автори, хоч і “підсвідомо”, однак все ж визнають співвідносність з концептом субстанціальності (в їхній термінології — з предметом чи особою) не лише іменника, але й діалектично пов’язаних з ним членів речення — підмета та додатка. Відношення, аналогічні відношенням між іменником та підметом і додатком, простежуються й між прикметником та означенням. Так само як і іменник, прикметник є лексико-граматичним засобом. Він виражає усталений, конвенціональний концепт “властивість”.

Означення ж, аналогічно підмету та додатку, — це суто граматичний, мовленнєвий (рухомий) засіб, який слугує для вираження спонтанного, плинного концепту властивості. Слід відзначити, що іменник та прикметник, які є лексико-граматичними засобами вираження відповідних концептів, зберігаються в пам’яті членів певного мовного соціуму безвідносно до конкретної субстанції. Що ж до підмета, додатка та означення, то вони формуються спонтанно, в процесі мовлення в пам’яті ж зафіксовані лише граматичні набори їх оформлення.

Досить цікавою у взаємовідносинах між частинами мови та членами речення є, на наш погляд, ще й така закономірність: чим більш конкретизованим лексично є той чи інший засіб на рівні мови (“спаяність” лексичного й граматичного компонентів властива, як відомо, частинам

мови), тим менш гнучким, а значить і “конкретним” він є на рівні мовлення, і, навпаки, чим більше абстрагується мовний засіб від лексики, тим вільніше, “конкретніше” він передає в процесі мовлення всі нюанси сприйняття людиною оточуючого середовища.

Підсумовуючи аналіз, відзначимо, що мова — це складна система підсистем, діалектично взаємопов’язаних між собою. Свідченням цього є взаємовідношення між одиницями морфологічного та синтаксичного рівнів мови — частинами мови та членами речення, яке, уособлюючи в собі діалектику суперечностей самої матерії — єдність загального і окремого, абстрактного і конкретного, сталого і плінного, забезпечує, разом з іншими засобами мови, “об’єктивне” віддзеркалення матеріального світу в усіх його найскладніших виявах, найтонших нюансах. Значно складнішим, більш проблемним, хоча й подібним до взаємовідношень вищеописаних частин мови і членів речення, є й взаємовідношення між дієсловом і присудком. Однак це вже предмет окремого дослідження.

1. Галкина-Федорук Е. М. Суждение и предложение. — М., 1956.
2. Жаборюк О. А. Категория stanu в сучасній англійській мові та індоевропейський синтаксичний процес. — Одеса, 1998.
3. Золотова Г. А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. — М., 1982.
4. Золотова Г. А. Синтаксический словарь. Репертуар элементарных единиц русского синтаксиса. — М., 1988.
5. Ярица В. И. Предисловие // R. Quirk, S. Greenbaum, G. Leech, J. Svartvik University Grammar of English. — М., 1982.
6. An English Grammar: Morphology / N. A. Kobrina, E. A. Korneyeva, M. I. Ossovskaya, K. A. Guzeyeva. — М., 1985.
7. An English Grammar: Syntax / N. A. Kobrina, E. A. Korneyeva, M. I. Ossovskaya, K. A. Guzeyeva. — М., 1986.
8. A Grammar of the English Language / В. Л. Каушанская, Р. Л. Ковнер, О. Н. Кожевникова и др. — Л., 1967.
9. Illyish В. А. The Structure of Modern English. — 2-е изд. — Л., 1971.
10. Leech G., Svartvik J. A Communicative Grammar of English. — М., 1983.
11. A University Grammar of English / R. Quirk, S. Greenbaum, G. Leech, J. Svartvik. — М., 1982.

УДК 81'25

М. Д. Маринашвили

О закономерностях некоторых переводческих трансформаций

Цель настоящего исследования — анализ обусловленности некоторых переводческих соответствий при передаче различных средств выражения качественной характеристики процесса на материале оригиналов художественных произведений современных французских авторов и их переводов на украинский и русский языки.

Категория качественной характеристики процесса, синтаксически оформляемая в виде обстоятельства образа действия, может иметь самые различные значения. Как отмечает Ф. Брюно, «невозможно перечислить все различные способы бытия, отмечаемые человеческим разумом, и подвергнуть классификации все те аспекты, в которых представляются существа, идеи и действия... Что касается действия, то различные его характеристики изменяются в зависимости от того, что рассматривается в нем, и язык представляет для наблюдения и анализа средства выразить все возможные тончайшие оттенки как действительные, так и кажущиеся» [17:652-653].

Исследованию подвергались качественно-количественные характеризаторы процесса, традиционно называемые обстоятельствами образа действия или обстоятельствами внутренней характеристики действия, средствами выражения которых во французском языке обычно являются качественные наречия и их функциональные эквиваленты: адвербиальные выражения, сравнительные обороты, формы на -ant. Кроме того, ввиду семантической близости обстоятельства образа действия и обстоятельственного определения к анализу привлекались также

средства выражения обстоятельственного определения, а именно: согласованное прилагательное и причастие и существительное в абсолютной конструкции.

Наряду с традиционным мнением о том, что качественные наречия выполняют в предложении функцию характеризаторов действия или состояния [2:309-310; 13:208-209; 5:106; 18:816], в современной лингвистике утвердилась точка зрения, как представляется, более объективная, согласно которой наряду с непосредственной характеристикой действия, качественные наречия способны характеризовать его через отношение к субъекту или объекту действия. Такая способность качественного наречия проистекает из его системно-функциональной характеристики, которая выражается во внешней инцидентности* 2-й степени [См.: 21:202; 24:175-194]. Семантическая зависимость наречия от глагола является внешней, а от существительного — субъекта действия — внутренней. Наречие находится по отношению к существительному (подлежащему) во второй степени инцидентности (соотнесенности), т.е. соотносится с ним опосредованно [24:179].

Семантико-синтаксические связи французских качественных наречий в предложении можно представить в формализованном виде с использованием внутриязыковых трансформаций. Так, для описания качественной характеристики действия (процесса) и его имплицитно выраженного результата используются трансформации типа:

Il conduit prudemment → Une conduite prudente (1)

Il attend vainement → Une attente vaine.

В данном случае имеет место трансформация номинализации глагольной синтагмы, содержащей наречие. Преобразование производится по типу: Il conduit prudemment; cela me rassure → Sa conduite prudente me rassure. С точки зрения теории инцидентности данная трансформация показывает наличие одинаковых семантических отношений в исходном и трансформированном предложениях: в первом наречие обладает понятийной инцидентностью глаголу, во втором — имеет место понятийная инцидентность прилагательного процессному имени существительному. По мнению Э.Нильсона-Эйле, в некоторых случаях приглагольное наречие на -ment может относиться лишь к «субстантивному понятию», заложенному в глаголе. Это так называемые «наречия содержания» (*adverbe de contenu*) [25:37-46]. Подобное отношение имеет место в тех случаях, когда субстантивное понятие содержится в имплицитном дополнении глагола (прямом или косвенном). Такой характеристике имплицитного результата действия (процесса) соответствуют трансформации типа:

manger parfaitement → manger des choses parfaites (2)

vêtir bellement → pourvoir de beau vêtement.

Переход исходного сочетания в именную синтагму предполагает в отличие от трансформации (1) появление имени существительного не процессного, а обозначающего результат, состояние, средство. Такой тип инцидентности Л.-О.Грундт называет результирующей [19:205].

Связи наречия в предложении, охарактеризованные Жераром Муанье [24] как инцидентность эксплицитному субстантивному понятию: субъекту (*Pierre écoute attentivement*) или объекту (*On peut employer transitivement le verbe sortir*) отражают различные аспекты совместимости наречия с другими элементами предложения. Ранняя и поздняя инцидентность могут быть представлены, соответственно, следующими трансформациями:

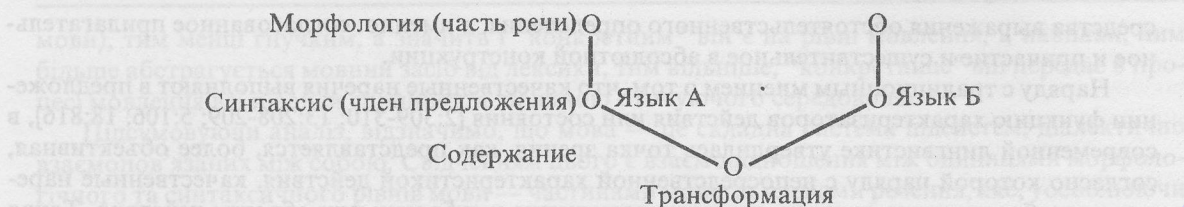
Pierre écoute attentivement → Pierre écoute, il est attentif (3)

Pierre attend vainement le train → Pierre attend le train, son attente est vaine.

Следует отметить, что в данной статье различаются внутриязыковые трансформации (использованные выше) и трансформации межъязыковые. Переводческие трансформации в общем смысле — «это качественно разнообразные межъязыковые преобразования, проводимые переводчиком с тем, чтобы текст перевода с максимально возможной полнотой передавал всю информацию, заключенную в исходном тексте при строгом соблюдении норм ПЯ» [14:42].

Вслед за В. Г. Гаком и Е. Б. Ройзенблит [4:13], как межъязыковую трансформацию мы понимаем преобразование, при котором изменяется самый характер синтаксических отношений, т.е. один член предложения исходного языка заменяется другим в языке перевода без нарушения инвариантности смысла. Схематически трансформация в межъязыковом аспекте представляется следующим образом [4:14]:

* Incidence (попадание, проекция) — термин Г. Гийома [20:7-8].



Отметим, что в связи со сказанным выше, обстоятельство образа действия и обстоятельственное определение отнесены нами к категориям, находящимся в отношении транспозиции. Таким образом, межъязыковые преобразования типа обстоятельство образа действия → обстоятельственное определение:

Frédie se tordait le nez à gauche, *passionnément* [16:11].

... а Фреды в экстазе *потирал* нос справа налево ... [1:117] В данной статье не рассматривается.

Сопоставительный анализ оригиналов и переводов позволил выявить следующие межъязыковые трансформации при передаче французского обстоятельства образа действия и обстоятельственного определения:

1) Обстоятельство образа действия → непредикативное определение*:

Une simple indigestion, due à la surabondance de haricots rouges dont nous gavait *économiquement* notre mère [16:39].

Просто несварение желудка, вызванное красными бобами, которыми *пичкала* нас *экономная мать* [1: 44].

2) Обстоятельство образа действия → именная часть составного именного сказуемого:

Il pleurait *laidement*, assis sur le lit, ... [22:201]

Он плакал, сидя на краешке моей постели, *и был весьма уродлив* в эту минуту [9: 235].

Переводческие трансформации в приведенных примерах представляются вполне закономерными, учитывая соотношенность наречий в функции обстоятельства образа действия через действие к субъекту действия. Ср.: notre mère nous gavait *économiquement* de haricots rouges → notre mère nous gavait de haricots rouges, elle était *économe*; il pleurait *laidement* → il pleurait, il était *laid* en ce moment (трансформации типа (3)).

3) Обстоятельство образа действия → автосемантическое простое предложение, входящее в состав сложносочиненного предложения:

— Je le sais bien, dit-il *avec un accent de tristesse* [26:36]

— Знаю, — отозвался он, и *в голосе его прозвучали грустные нотки* [12:173].

— Я знаю, — промовив він, *і в його голосі прозвучав бенгетський сум* [11:29].

4) Обстоятельство образа действия или обстоятельственное определение → дополнительное придаточное предложение в составе сложноподчиненного предложения:

Il la tenait solidement, traversant la piste d'un bout à l'autre sans aucun rythme, *l'air très content de lui-même* [26:15].

Не дослухаючись до ритму, Роже твердо водив її з кінця в кінець майданчика, *і видно було, що він дуже задоволений собою* [11:12].

5) Обстоятельство образа действия → прямое или косвенное дополнение:

...elle *devait* habitait une Sibérie, la grand-mère, pour nous battre *si froid*... [16:356].

...она должна была бы жить где-нибудь в Сибири, раз от нее веет на нас *таким холодом*... [1:375].

Подобного рода межъязыковым трансформациям подвергаются так называемые наречия и наречные единицы содержания, значительную часть которых составляют безаффиксальные адвербиализованные прилагательные [7:54].

6) Обстоятельство образа действия или обстоятельственное определение → сказуемое:

a) Il répondit *d'une voix changée*:

— Tu t'hypnotises sur des questions d'intérêt [22:319].

Голос у Робера *затремтів*: — Ти гіпнотизуєш себе грошовими справами [9:245].

b) Il précisa, *la bouche fondante*. — Cent mille francs pour chacun de nous [16:314].

* Поскольку качественная характеристика действия представляет собой категорию, зависимую от другой категории — предиката, то при выражении первой имеют место трансформации, связанные с изменением средств обозначения самого предиката [4:145].

Он уточнил, вернее, *просмаковал*: — Сто тысяч франков каждому из нас [1:330].

Последние примеры представляют собой один из случаев асимметричных структур, а именно, являются имплицитными структурами, в которых значение обстоятельства образа действия оригинала выражено в значении сказуемого перевода (Подробнее о возможных переводческих соответствиях французских абсолютных конструкций с существительным в функции обстоятельственного определения — пример б) — в украинском и русском языках см.: [6]). При этом имеет место соответствие словосочетания слову — $V + C_{\text{circ}} \leftrightarrow V_1$:

— Mais? dit Rancé, *l'air fermé* [23:82].

— Але? — *насторожився Рансе* [8:45].

Довольно часто глаголы, обозначающие общее направление движения в сочетании с обстоятельством способа передвижения в переводе передаются имплицитно в глаголах движения:

Je montais l'escalier quatre à quatre [22:113].

Я лезів угору сходами [9:30].

Подобные преобразования вызваны расхождениями в системе глаголов движения, в данном случае, французского, русского и украинского языков. Так, в русском языке «употребляются глаголы с более сложной семантической структурой, в то время как французский язык довольствуется более простыми по семантическому составу глаголами... В русском языке мы чаще встречаем полнокровные, содержательные глаголы, обозначающие не только направление, но и способ движения, и экспрессивность действия» [3:167].

К асимметричным структурам в межъязыковом плане относятся также *нравномсрнне* структуры, когда в переводе отсутствует качественно-количественная характеристика действия, имеющая место в оригинале. Чаще всего это обусловлено определенными лексико-фразеологическими или стилистическими причинами, которые в данной статье не рассматриваются:

Je ne reux pas m'empêcher d'ouvrir, de humer à plein nez [16: 330].

Я не могу отказать себе в удовольствии открыть окно и потянуть носом воздух [1:346].

Simon sortit brusquement de ses rêves [26:23].

Этот вопрос *вывел* Симона *из состояния глубокой задумчивости* [12:164].

Проанализированный фактический языковой материал позволяет сделать вывод о том, что основой для поиска определенных закономерностей перевода различных средств выражения качественной характеристики процесса может служить системно-функциональная характеристика качественного наречия.

Перевод французского обстоятельства образа действия на украинский и русский языки может осуществляться в соответствии с трансформационной моделью, в основе которой лежит метод трансформационного анализа, поскольку эта модель воспроизводит глубинные связи наречия и его функциональных эквивалентов с другими элементами предложения.

При сопоставлении оригинала и перевода чаще всего обнаруживаются те же самые трансформации, которые используются при описании отношений между синтаксическими структурами в пределах одного языка. Анализ перевода свидетельствует о том, что грамматические трансформации находят применение в качестве одного из приемов семантического анализа исходного текста и одного из способов построения конечного высказывания.

Анализ качественных наречий и их функциональных эквивалентов в приглагольной позиции по типам глубинных значений позволяет определить возможность или в отдельных случаях необходимость переводческих трансформаций.

1. Базен Э. Змея в кулаке / Пер. Н. Немчиновой. Смерть лошадки / Пер. Н. Жарковой. Крик совы / Пер. Н. Брандес и А. Тетеревниковой. — М., 1982.
2. Виноградов В. В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. — М., 1986.
3. Гак В. Г. Сопоставительная лексикология. — М., 1977.
4. Гак В. Г., Ройзенблит Е. Б. Очерки по сопоставительному изучению французского и русского языков. — М., 1965.
5. Жлуктенко Ю. О. Порівняльна граматика української та англійської мов. — К., 1960.
6. Маринашвілі М. Д. Структурні розходження між мовами та переклад (абсолютні конструкції у сучасній французькій мові та їх перекладацькі відповідники) // Вісник Одеського державного університету. — 1999. — № 4.
7. Маринашвілі М. Д. Способы перевода качественных безаффиксальных адвербиализованных прилагательных с французского на русский язык // Мова. — 1995. — № 1-2.

8. Мерль Р. За склом / Пер. Г. Філіпчука. — К., 1978.
9. Моріак Ф. Гадючник. Дорога в нікуди / Пер. Д. Паламарчука. — К., 1980.
10. Моріак Ф. Дорога в нікуди / Пер. Н. И. Немчиновой. — М., 1989.
11. Саган Ф. Чи любите ви Брамса? / Пер. В. Омельченко. — К., 1983.
12. Саган Ф. Здравствуй, грусть. Смутная улыбка. Любите ли вы Брамса? Немного солнца в холодной воде. — К., 1991.
13. Сучасна українська літературна мова. Синтаксис / За ред. І. К. Білодіда. — К., 1972.
14. Теория и практика перевода с французского языка на русский / С. М. Батура, М. И. Захаркевич, О. П. Морозова, В. В. Колесников. — Минск, 1987.
15. Швейцер А. Д. Перевод и лингвистика. — М., 1973.
16. Bazin H. Vipère au poing. La mort du petit cheval. Cri de la chouette. — М., 1979.
17. Brunot F. La pensée et la langue: méthode, principes et plan d'une théorie nouvelle du langage appliquée au français. — Paris, 1926.
18. Grevisse M. Le Bon Usage. Grammaire française. — Paris, 1969.
19. Grundt L. O. Etude sur l'adjectif invarié en français. — Bergen-Oslo-Tromsø, 1972.
20. Guillaume G. Epoque et niveaux temporels dans le système de la conjugaison française // Cahier de linguistique structurale. — Québec, 1957. — № 4.
21. Leçons de linguistique de Gustave Guillaume (1949-1950). Série A. Publ. par R. Valin. — Paris, 1974.
22. Mauriac F. Thérèse Desqueyroux. Le noeud de vipères. Les chemins de la mer. — Moscou, 1966.
23. Merle R. Derrière la vitre. — Paris, 1970.
24. Moignet G. L'Incidence de l'adverbe et l'adverbialisation des adjectifs // Travaux de linguistique et de littérature, publiés par le Centre de Philologie et des Langues de l'Université de Strasbourg. — 1963. — 1.
25. Nilsson-Ehle H. Les adverbes en -ment compléments d'un verbe en français moderne. Etude de classement syntaxique et sémantique. — Lund, 1941.
26. Sagan F. Aimez-vous Brahms? — Paris, 1959.

УДК 811.161.1'42

Е. В. Кныш, М. М. Харитоновна

Семантико-структурная организация повествования в рассказе А. И. Куприна “Большой Фонтан”

“Художественный текст можно рассматривать в качестве особым образом устроенного механизма, обладающего способностью заключать в себе исключительно высоко сконцентрированную информацию” [4:360] В этом смысле показателен рассказ А. И. Куприна “Большой Фонтан” — небольшой по объему, но яркий и запоминающийся.

С профессиональной лингвистической точки зрения особый интерес представляет речевая манера говорящего, от чьего имени ведется повествование. Благодаря своеобразию этой манеры становится уловимым бурлескный тон повествования.

Речевое амплуа, данное писателем рассказчику, определено четко. Это роль друга, с позиций которого оценивается происшедшее. Таким образом, “художественная точка зрения” (Ю. М. Лотман) ориентирована на ценностную шкалу говорящего, который направляет речевое сообщение адресату, в данном случае — кооптированному. “Каждый речевой жанр в каждой области речевого ощущения имеет свою, определяющую его как жанр, типическую концепцию адресата” [1:290]. Именно ориентация на адресата — стремление установить с ним контакт и вызвать у него определенное эмоциональное состояние, то есть фатическая и конативная функции языка, по Р. Якобсону, мотивируют речевое поведение рассказчика.

Возводя в ранг происшествия (“значительного уклонения от нормы” [4:283]), в ранг “события” вполне заурядный случай, говорящий (адресант) строит свой монолог с привлечением разностилевых речевых средств. “Отбор всех языковых средств производится говорящим под большим или меньшим влиянием адресата...” [1:296]. Вот как начинается повествование в рассказе: *Великая вещь дружба. И тем более она драгоценна, что становится в наше время редчайшим явлением.*

Ужасна измена друга. Еще страшнее смерть его. Но неизмеримо горше, когда вернейшего и любимейшего друга выкрадут из вашего сердца, как часы из жилетного кармана. Надо ли гово-

речь, что в этой тяжелой утрате роль похитителя всегда принадлежит женщине? Мы, мужчины, не только охотно терпим женских подруг девичества, но даже дарим приятно ее бывших поклонников. Женщина же скорее простит мужу его холостые романсы, чем потеряет в своем доме самого великодушного друга его молодости.

Так вот и я навсегда и безнадежно потерял заветного дружка, Мишеньку Говоркова. Он исчез, погиб, выветрился, выдохся на моих глазах... А надо сказать, что был он самым убежденным холостяком, врагом семейной изнеженности нравов, свободолюбцем, человеком крупного таланта, железной воли и стальных нервов... Погубил его Большой Фонтан... [6:332].

Абстрагируясь от содержания случившегося, принимая его за случившееся вообще, то есть за действительное событие, в рассматриваемой автором ситуации можно обнаружить наличие смыслообразующей оппозиции *жизнь-смерть* в одном из ее вариантов. Под концептуальным знаком этой оппозиции излагает события говорящий, и это подтверждается в тематическом плане рамочной композицией его рассказа: повествование начинается и заканчивается скорбью о погибшем друге (заключительные фразы рассказа таковы: *Так мы больше никогда и не увиделись. Может быть, он и жив еще. Все равно, мир его милому праху* [6:336]). Для усиления мотива смерти адресант отбирает соответствующие лексические средства, служащие сигналами этого понятия: смерть; навсегда потерял (о друге); [он] погиб; [его] погубил; беда; дьявольская, неисследованная зараза; болезнь, постигшая его в смертельной форме; мир его... праху. Вырванные из контекста, эти лексические средства могут оформлять плач по усопшему. Аналогичную функцию выполняют некоторые средства «патетического синтаксиса», используемые в тексте: параллелизм в начале абзацев с субъективным порядком слов, риторический вопрос, восклицательные конструкции. Однако в условиях контекста намеренные «эпитафические» мотивы приобретают оттенок бурлеска, и исполненное трагизма патетическое восклицание «мир его милому праху» в соединении со словами «но все равно» вызывает улыбку. Комический эффект, которого добивается говорящий, достигается за счет сознательного смешения адресантом языковых средств, обслуживающих разные стили. Кроме того, этот эффект создается точкой зрения говорящего, который полностью отождествляет женитьбу своего друга с его смертью.

Оплакивая «погибшего» друга, автор чрезвычайно экспрессивен. Его экспрессия прагматична и имеет целью достижение того же комического объекта. Само название рассказа (идеом) — «Большой Фонтан» — это экспрессема (термин В. Григорьева), а не просто топонимическое обозначение «полудачного, полукурортного приморского местечка под Одессой». Таковой же экспрессемой является и *белая акация*. Образ белой акации превращается, с учетом аксиомы контекста (по терминологии А. Ф. Лосева [3:86]), из абстрактного индикатора в знак-символ — сквозной образ, экспрессему, производную от экспрессы *Большой Фонтан*.

Экспрессивность как основная характеристика речевой манеры говорящего все яснее осознается адресатом по мере развертывания повествования. В этом смысле существенную роль играет структурирование текста (особую функцию «эмоции формы» неоднократно подчеркивал Л. С. Выготский [2:49]), его композиция и средства ее организации.

Рассказ «Большой Фонтан» композиционно построен как своеобразная воронка, причем для создания соответствующей структуры очень важны такие лексико-синтаксические и синтаксические средства, как лексемы с анафорической функцией (прежде всего *так*) и абзацное членение.

Повествование, как уже указывалось, начинается сложным синтаксическим целым синтаксического типа — ироническим рассуждением о величии дружбы и пагубной роли женщины для мужской дружбы вообще. Следующее ССЦ, закономерно выделенное в самостоятельный абзац, содержит в инициальной позиции зачина местоименное наречие *так* (*Так вот и я навсегда и безнадежно потерял заветного дружка, Мишеньку Говоркова*), анафоричность которого является двойной, то есть обращенной как к содержанию первого ССЦ (читатель делает вывод о том, что причиной разрыва друзей стала женщина), так и к содержанию дальнейшего текста — в нем ожидается повествование о том, как же именно «так» все случилось. Происходит первое сужение рамок повествования; в композиционном отношении можно констатировать первую завязку — рассказ о том, как распалась дружба героев. Весь последующий текст вплоть до второго «сужения» насыщен содержательно-концептуальной информацией с ярко выраженной авторской модальностью, связанной, в основном, с лексическими средствами: обращает на себя

внимание лексическое наполнение широко используемых имплицитных сравнений (в период цветения белой акации Большой Фонтан пахнет “теми сладкими, крепкими, терпкими теперешними духами, от которых хочется чихать и от которых в самом деле вертят носом и чихают чуткие собаки. На следующий день пахнет уже не духами, а противными дешевыми, пахучими конфетами или тем ужасным душистым мылом, запах которого на руках не выветривается в течение недели” [6:333], контекстуальная синонимия (исчез, погиб, выветрился, выдохся), семантические сдвиги на синтагматическом уровне (злбный цветок) и др.

Принципиальный интерес в контексте нашего анализа представляет следующее ССЦ: *Однажды утром неопытный северянин идет по дорожке Ковалевского парка и вдруг останавливается, изумленный диковинным, незнакомым, никогда доселе не слыханным ароматом. Какая-то щекошущая радость заключена в этом пряном благоухании, заставляющем ноздри широко раздуваться и губы невольно улыбаться. Так пахнет белая акация* [6:333].

Местоименное наречие *так* в данном случае выполняет анафорическую функцию лишь по отношению к содержанию приведенного ССЦ, и, соответственно, фраза не выносится в абзацный отступ.

В следующий раз *так* сигнализирует о начале фрагмента (включающего несколько ССЦ), в котором, в отличие от предыдущего, преобладает содержательно-фактуальная информация: мы знакомимся с историей любовной вспышки Мишеньки Говоркова, его женитьбы и разочарования. *Так случилось и с Мишенькой* — вновь наблюдается двойная обращенность анафорической функции *так*: во-первых, описание возбуждающего романтические устремления и любовные порывы запаха акации как своеобразной болезни относится и к Мишеньке, поскольку и он этой “болезнью” заразился, как следует из приведенного предложения. Во-вторых, далее непосредственно следует рассказ о встрече и знакомстве с Ниной, о женитьбе и ее последствиях. Лексема *так* сигнализирует о переходе ко второй завязке — в истории Мишеньки и Нины, завязки, основной с точки зрения развития сюжета. Неслучайно поэтому в данном случае вся фраза представляет собой самостоятельный абзац. Происходит очередное сужение рамок повествования — от общих, исключительно ярких и образных, наблюдений о влиянии запаха большефонтанской акации — как символа атмосферы южного города (экспрессемы) — на неподготовленную душу северянина, к конкретной житейской истории, грустной и смешной одновременно.

Будучи структурирован уже описанным нами образом, рассказ в той своей части, которая является развернутым обоснованием выдвинутой сентенции (то есть весь текст, за исключением первого ССЦ), построен по принципу кольцевого обрамления, наличие этой же рамочной композиции, но связанной с тематическим планом, уже отмечалось ранее — лексема *так* стоит в зачине последнего ССЦ, включающего три короткие фразы: “Так мы больше никогда и не увиделись” и далее. Анафорической функции *так* уже не выполняет — повествование завершается, а выступает в соединении частиц *так и*, используемом в начале предложений и “выражающих итог, результат каких-либо действий” [5:333]. Таким образом, рамочная композиция наблюдается как в содержательном, так и в формальном плане.

Оптимальное соотношение разностилевых языковых средств, с помощью которого достигаются оригинальная речевая манера говорящего и тон повествования в целом, особая композиционная организация этого повествования и принадлежат к составляющим механизма, способного концентрировать и преломлять в соответствии с авторским замыслом информацию о реальном мире и вызывать эстетическую реакцию.

1. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. — Изд. 2-е. — М., 1986.
2. Выготский Л. С. Психология искусства. — М., 1968.
3. Лосев Л. Ф. Знак. Символ. Миф: Труды по языкознанию. — М., 1982.
4. Лотман Ю. М. Структура художественного текста. — М., 1970.
5. Словарь русского языка: В 4 т. — Изд. 2-е, испр. и доп. — М., 1984. — Т. 4.
6. Куприн А. И. Большой Фонтан // Собр. соч.: В 9 т. — М., 1972.

Н. В. Кондратенко

Вопросы, адресованные Богу, в русской и украинской поэзии

... Я — или Бог — или никто.
М. Ю. Лермонтов

Поэзия — особый тип мышления, она язык, не всем доступный, но всем понятный. Поэт наделен особым даром — говорить невысказываемое, понимать необъяснимое. В законах поэтического творчества есть что-то сакральное. Именно поэтому так часты в поэзии обращения и вопросы к Богу, гневные и примирительные, непосредственные и завуалированные, — обращения творцов к Творцу. Поэту необходим слушатель или читатель, иначе творчество не имеет смысла. Тогда и появляется высший надресат, «абсолютно справедливое ответное понимание которого предполагается либо в метафизической дали, либо в далеком историческом времени» [1:305]. Конечно, апелляция к высшей силе мироздания изначально заложена в человеческой природе. Богу мы адресуем и неразрешимые вопросы. Поэтов такие вопросы тревожили на протяжении веков, волнуют и сейчас. Предметом нашего исследования стали вопросительные предложения в русской и украинской поэзии XX века, адресованные (в любой форме) «высшей инстанции ответного понимания» (М. М. Бахтин). «Познавать национальное ВСЁ народа через образ божества тем удобно, что в божестве в узел стянуты основные представления народа...» [2:184].

Вопросительные высказывания, адресованные Богу, могут носить эксплицитный и имплицитный характер: к вопросам первого типа относятся те, которые содержат лексикализованные обращения к высшей силе.

Боже мій, я ж Тебе кличу: Що ти робиш зі мною?
Що ж Ти мій голос, Боже, мені ж повертаєш луною? (Л. Костенко)

Господь, ты слышишь? Господь, простишь ли?
Весна плыла высоко в синеве (А. Блок)

Лирический герой обращается с вопросом к Богу в отчаянной ситуации, хотя и понимает, что ответа не будет. Эти вопросы заведомо безответны. Тем не менее, даже функционируя в монологической речи, они рассчитаны на восприятие. Если адресат иной, то «высшая инстанция» является незримо присутствующим третьим собеседником (в качестве арбитра), в данном случае вопрос адресован непосредственно Богу, а объективным судьей выступает читатель, попытка человека вести разговор с божеством может быть оценена только другим человеком. При заведомой тщетности этой попытки лирический герой осознает, что имеет право спрашивать у Бога о тайнах бытия.

Дункан седых догадок — помощь!
О смута сонмищ в отпусках,
О, боже, боже, может вспомнишь
Почем нас людям отпускар? (Б. Пастернак)

Прямое обращение с вопросом к Богу может иметь двоякий характер: оно либо является элементом вопросно-ответного единства, либо функционирует как риторический вопрос. Т.е. доминирует то первичная, то вторичная функция — в зависимости от авторской цели.

— Христос, а ты доволен ли судьбою?
Христос: «Вполне. С гвоздями перебои» (А. Вознесенский)

В данном случае обращение к Богу с вопросом, несоответствующим ситуации, создает эффект стилистической сниженности и требует адекватного ответа. Противоречие между речевой ситуацией — апелляция к высшему началу — и темой этой апелляции переводит коммуникацию на бытовой уровень, этому также способствует контекст: ряд сходных вопросов, обращен-

ных к колхозникам, дояркам, профессорам и др. В таком тексте имеет место диалог с реальным собеседником, а не с наадресатом. Возникает иронический подтекст, возможный при несоответствии формы и содержания (в данном случае адресата и вопроса).

При моделировании текста как «ложного диалога» [10:26], при обширных монологах и ответах — репликах (а зачастую и отсутствии ответов) возможно обращение к Богу в бытовой ситуации с вопросом, выходящим за рамки бытовой коммуникации.

— На те ж воно, Господи, й літо,
Щоб плоди достигали. І що ж ти створів за світ?
Ще ж немає ні людства, ні преси, ні головліта,
а цензура вже є, і є заборонений плід! (Л. Костенко)

В украинской поэзии часты вопросы к Богу, содержащие в себе одновременно как запрос информации, так и понимание тщетности этого вопроса. И все же граница риторичности еще не достигнута, и остается надежда на возможность ответа. При этом не возникает иронического эффекта.

Скажи ж нам, Всемогутній, хто є Ти,
чи щепіт серця, чи важкі світи?
Пощо нас вивів Ти в земну дорогу? (О. Тарнавський)

В этих вопросах автор пытается увидеть в высшей силе земную основу, человеческую ответную реакцию. В основном же вопросительные высказывания адресованы Богу как высшему духовному существу. При адресации высшему началу, даже при персонификации обращения, звучит сомнение либо во всемогуществе адресата, либо в его существовании.

Мать говорит Христу:
— Ты мой сын или мой
Бог? Ты прибит к кресту,
Как я пойду домой?

Как ступлю на порог,
не узнав, не решив:
ты мой сын или Бог?
То есть мертв или жив? (И. Бродский)

В данном случае наблюдаем соединение вопроса к Богу с вопросом о Боге, т.е. совмещение представлений об объекте-адресате и делиберативном объекте. Переход от прямой коммуникации к размышлению свидетельствует о нейтрализации оппозиции «прямой/непрямой вопрос».

Поэты не принимают готовых истин, они ищут. Наделив Абсолют реальной способностью к ответу, автор не только привнес бы фантастический элемент, но и уничтожил бы ценность данных вопросов. Поэт, нашедший истину, уже не поэт. Тем не менее, апелляция к Богу — это последний шаг, на который может отважиться человек. В такой критической ситуации лирический герой либо подсознательно верит в то, что будет услышан, либо идет на заведомо бессмысленный поступок. Это сохраняется и при состоявшемся диалоге:

Когда же слово Бога с высоты
Большой Медведицею заблестело,
С вопросом: «Кто же, вопрошатель, ты?»
Душа предстала предо мной и тело.
На них я взоры медленно вознес
И милостиво дерзостным ответил:
«Скажите мне, ужель разумен пес,
Который воет, если месяц светел?
Ужели вам допрашивать меня,
Меня, кому единое мгновенье —
Весь срок от первого земного дня
До огненного светопредставленья? (Н. Гумилев)

В тексте признается реальность собеседника, но отрицается божественное правосудие, риторические вопросы «Ужели..?» прогнозируют негативный ответ. Употребление вопроса во вторичной функции, со значением экспрессивного отрицания, актуализирует прагматическое значение коммуникативной ситуации, проявляющее «субъективные оценочно — эмоциональные отношения говорящих» [6:616] к предмету речи.

На переходной этапе, когда первичная функция полностью не утрачена, доминирует когнитивное значение, и Бог рассматривается как реальный собеседник. Преобладание прагматического значения позволяет обозначить позицию адресанта, но затрудняет (или исключает) выполнение коммуникативной роли адресата. В результате такой нивелировки ответной способности Бога — собеседника возникают вопросы второго типа, в центре семантики которых Абсолют как объект размышлений (в плане реальности его существования и готовности к коммуникации).

А бог? — по самый лоб закурен,
Не вступится. — Напрасно ждем.
Над койками больницы и тюрем
Он гвоздиками пригвожден (М. Цветаева)

Семантически перекликается со Стусом:

Бо де там син? Де Бог? Нема обох,
І смерть обсіла пустку, наче льох (В. Стус)

В вопросах, содержащих вербально выраженные обращения или упоминания о Боге, реализуются различные способы номинации наадресата.

Наиболее часто встречается имя Бог. «Бог. — По религиозным представлениям — создатель Вселенной, всего сущего, высший разум, управляющий миром» [8:656]. Это наиболее широкое значение, оно в различных контекстах может актуализироваться то как религиозная основа (реальность Бога), то как разумность миропорядка. Имея религиозные предпосылки, эта номинация не обозначает принадлежность к какой-либо религии, поэтому возможно употребление различных форм, в том числе и множественного числа.

Что, боги, — если бурое пятно
в окне символизирует вас, боги, —
стремились вы нам высказать в итоге? (И. Бродский)

А обращения-именования Господь, Христос, Иисус репрезентируют христианство и имеют библейскую природу.

Исус, Исус, ты слышишь?
Ты видишь? Я один.
Тебя зовет и кличет
Товарищ твой Мартин! (С. Есенин)

При местоименных обращениях в форме второго лица формально возможны два варианта: с прописной и строчной букв; но это внешнее отличие выявляет и семантическое различие. В Библии, и вообще в христианской религии, обязательно графическое представление именования Бога только с прописной буквы, какими бы лексемами оно ни было представлено (включая Он, Его, Тот и др.), в поэзии наиболее последовательно соблюдается написание прописной буквы в именованиях Бог, Господь и местоимении Ты только при подразумевании христианского Бога и достаточной религиозности автора.

Вдивляюся — і хочеться мені
Всміхнутись тепло і звернуть з дороги,
Бо чи ж не так в небесній глибині
Ми бачим хмари — і не бачим Бога? (Л. Полтава)

В христианской традиции имеется и обращение к Богу с помощью субстантиватов Всемогуций, Всемогутній, Всевышний и т.п., актуализирующих характерологическую семантику. В вопросах о Боге, но не адресованных наадресату, возможно и именование в форме третьего лица.

В ничем — ничто. Из ничего вдруг что-то.
И это — Бог!
В самосоздании не дал он отчета, —
Кому б он мог?

(И. Северянин)

Все указанные способы номинации в равной мере свойственны русской и украинской лирике, т.к. имеют в своей основе религию. Употребление же прописной или строчной букв иллюстрирует индивидуальное мировидение поэта (а, может быть, также издательскую практику, отражающую в разные периоды господствующую идеологию).

Вопросительные высказывания о Боге и обращенные к Богу органичны для поэзии в принципе. При этом вторые имеют вербальное выражение адресата в тексте, имеющего различные способы номинации, а первые могут быть адресованы любому субъекту или не иметь адресата — в этом случае они предполагают возможность наадресата как пассивного реципиента [3:129].

Значимость Бога в человеческом мировоззрении нашла отражение и в поэзии. Поэтическое миропонимание вмещает в себя философское («совокупность знаний о мире» [4:21]) и интуитивное постижение действительности [7:30], что находит выражение в когнитивном значении вопросительных высказываний. Кроме того, природой поэтического творчества обусловлен творческий, креативный [9:3] аспект, репрезентирующий эстетический взгляд на мир. При большом сходстве апелляций к Богу в украинской и русской лирике русские поэты более часто используют риторические вопросы — единицы с доминирующей прагматической семантикой. А в украинской поэзии часты такие вопросительные высказывания, в которых гносеологическая функция не утрачивается полностью и на первом плане остается когнитивное значение.

Детерминация Абсолюта в вопросах отражает особенность ее в поэтических картинах мира русской и украинской лирики. Т.о., при большом сходстве и незначительных различиях обращений к Богу в вопросительных высказываниях выявляются специфические черты, обнаруживаемые как на формальном, так и на семантическом уровнях.

1. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. — М., 1979.
2. Гачев Г. Национальные образы мира. — М., 1988.
3. Ковтунова И. И. Поэтический синтаксис. — М., 1986.
4. Колшанский Г. В. Объективная картина мира в познании и языке. — М., 1990.
5. Лермонтов М. Ю. Избранные произведения. — М., 1984.
6. Никитин М. В. Курс лингвистической семантики. — М., 1997.
7. Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира. — М., 1988.
8. Словарь современного русского литературного языка: В 20 т. — М., 1991. — Т. 1.
9. Тупицька Г. П. Поетична семантика в процесі породження сприйняття: Автореф. дис. ... канд філол. наук. — К., 1996.
10. Якубинский Л. П. О диалогической речи // Избранные работы: Язык и его функционирование. — М., 1986.

УДК 811.161.1'373.46

Л. В. Яровая

Предикативные единицы русской терминосистемы морского судовождения

В современном языкознании термин определяется как «слово или словосочетание, обозначающее понятие специальной области знания или деятельности» [5:508]. Большинство терминоведов признаёт сегодня терминологичность наименований не только предметных, но и процессуальных, качественных, обстоятельственных, количественных понятий [8:96-97]. Изучение терминологии морского судовождения убеждает нас в том, что основные семасиологические характеристики термина — моносемия, отсутствие синонимии и омонимии, экспрессивная и стилистическая нейтральность — являются лишь ведущими тенденциями в языке, которые иногда не могут быть реализованы даже в сфере фиксации. Так, судоводительские команды

типа *Так держать! Отводи! Малый ход! Полный вперед!* и подобные фиксируются словарями и справочниками как эмоционально (следовательно, и экспрессивно) окрашенные [6:57, 80 и др.; 4:141-144].

Признание терминами специальных глаголов, большинство которых обозначают конкретные действия [3:47; 1:18], косвенно предсказывает возможность существования в терминосистемах наряду с непредикативными терминологическими единицами предикативных единиц. Специфика условий профессионального общения требует наличия в терминосистеме морского судовождения особых единиц, называющих разные формы ситуативно обусловленных динамических закономерностей судовождения. Такие единицы должны совмещать номинативную и коммуникативную функции, поскольку, во-первых, призваны быть знаками строго регламентированных правилами судовождения действий, выполняемых в определенной последовательности, во-вторых, направлены от конкретного адресанта к конкретному (-ым) адресату (-ам), предусматривая, таким образом, акт коммуникации субъектов судовождения.

Таковыми терминологическими единицами в терминосистеме морского судовождения являются команды, предусмотренные для каждого этапа судовождения — науки о безопасном движении судов. Сфера функционирования таких терминов позволяет выделить среди них пять тематических групп:

1. Команды при постановке на якорь: *Приготовить якорь к отдаче! Отдать левый якорь! Слабо держать якорь-цепь! Якорь ползет. Разобить брашпиль! Закрепить якорь по-походному!* и под.

2. Команды на руль: *Лево двадцать! Так держать! Лево не ходить! Следовать в кильватер за катером!* и под.

3. Команды в машину: *Опробовать машину! Средний вперед! Самый малый назад! Стоп машина!* и под.

4. Команды при швартовке: *Подать бросательный на берег! Потравить носовой! Выбрать слаину! Чисто ли за кормой? Приготовить кранцы! Поднять флаг!* и под.

5. Команды при буксировке: *Команде аврал! Травить буксир! Укоротить буксир! Буксируйте вперед полным ходом! Уменьшить ход! Немедленно остановите движение! Буксир лопнул. Стоп выбирать!* и под.

Предикативные термины морского судовождения совмещают номинативную, коммуникативную и императивную функции. Каждый термин-команда предусматривает определенный комплекс действий, совершаемых адресатом в определенной конкретными нормативными актами или правилами последовательности. Напр., команда *Приготовить машину!* как термин называет весь цикл мероприятий машинного отделения по подготовке машины к опробованию, как предикативная единица — служит средством общения в конкретной ситуации капитана судна с подчиненными, отвечающими за конкретный участок работы.

В устной речи все команды эмоциональны и должны квалифицироваться как восклицательные предложения. Однако в письменной речи восклицательный знак формализован. Его наличие или отсутствие связывается с формальной отнесенностью предложений-команд к той или иной группе предложений по цели высказывания. Так, в письменной речи лишь 100 команд из 125 (80%) представлены как восклицательные [4:142-144], так как эти предложения по форме являются невопросительными побудительными с ирреальной модальностью. При этом императивность 9 (9%) из них выражается формой повелительного наклонения глагола. Эти команды по составу грамматической основы квалифицируются как односоставные глагольные определенно-личные предложения. Например: *Буксируйте вперед! Следуйте за ледоколом! Разворачивайтесь вправо!* Императивность 67 команд выражается независимым инфинитивом. Эти команды по составу грамматической основы являются односоставными глагольными инфинитивами: *Травить две смычки в воду! Право не ходить! Одерживать! Спустить трос!* Императивность 5 команд выражается междометием в составе предложения: *Вира якорь! Полундра! Панер! Стоп машина! Стоп выбирать!* 1 команда — *Команде аврал!* — представляет собой односоставное именное номинативно-императивное предложение. В остальных 18 командах представлен недифференцированный способ выражения императивности, поскольку это неполные односоставные предложения с опущенным главным членом: *Прямо руль!* (= *Держать/держите прямо руль!*), *Малый вперед!* (*Дать/дайте малый ход вперед!*), *Внимательно на руле!* (*Внимательно следите/следить на руле за командами/приборами/обстановкой*).

В предложениях-командах неполнота является ситуативной, а сами команды можно квалифицировать как профессиональные компрессивы-клише (*Лево на борт! Крепить носовой! Руль право пять!* и под.).

18 команд квалифицируются в письменной речи как невосклицательные невопросительные повествовательные. Их императивность выражается в устной речи интонационно: *Якорная цепь смотрит по траверзу. Якорь стал. Машина больше не нужна. Буксир лопнул.*

7 команд формально-грамматически являются вопросительными по цели высказывания: *Чист ли якорь? Сколько смычек в воду? Закреплен ли буксир?* Команды-вопросы направлены на выполнение обязательных промежуточных действий, без которых капитан не вправе принять решения.

В результате проведенного исследования мы установили возможность функционирования в русской терминосистеме морского судовождения не только непредикативных, ни и предикативных терминологических единиц. Этому способствуют экстралингвистические и собственно лингвистические факторы: специфика морского судовождения обуславливает необходимость коммуникации его участников; признание терминологичности наименований специальных действий, процессов и состояний способствует признанию терминологичности предикативных единиц, воспринимаемых субъектами судовождения как символы определений ситуативно обусловленной последовательности действий.

1. Валтакари П. К. Словообразовательная и лексико-семантическая специфика русских отглагольных имен существительных (в языке технических наук): Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. — М., 1987.
2. Грамматика современного русского литературного языка. — М., 1970.
3. Даниленко В. П. Терминологизация разных частей речи (термины-глаголы) // Проблемы языка науки и техники. Логические и историко-научные аспекты терминологии: Сб. статей. — М., 1970.
4. Корнараки В. А. Справочник лоцмана. — М., 1983.
5. Лингвистический энциклопедический словарь. — М., 1990.
6. Лукьяненко К. Ф., Сергеева В. Н. Частотный англо-русский словарь-минимум по судовождению. — М., 1978.
7. Русская грамматика: В 2 т. — М., 1980. — Т. 2.
8. Суперанская А. В., Подольская Н. В., Васильева Н. В. Общая терминология: Вопросы теории. — М., 1989.
9. Философский словарь. — 5-е изд. / Под ред. И. Т. Фролова. — М., 1987.

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

На прохання редакції журналу

«ПІЗНАЙКО»

повідомляємо,

що передплатна ціна

на цей дуже цікавий та корисний журнал

знижена до

2 гривень 50 копійок на місяць

Издательская деятельность Л. П. Жуковской: Мстиславово евангелие 1117 г.

Невозможно переоценить вклад Л. П. Жуковской (1920-1994) в дело издания древнейших памятников славянской письменности. В 1978 г. ею было предпринято издание «Реймское евангелие: история его изучения и текст». Под ее редакцией и с написанными ею научными комментариями большого объема были напечатаны Мстиславово евангелие 1117 г., причем необходимо отметить, что в то время часто в обозначении предмета ее главных научных изысканий ей приходилось проявлять изобретательность и, по возможности, камуфлировать предмет изучения. Сложно было издать Мстиславово евангелие, а Апракос Мстислава Великого (1983), Изборник Святослава 1073 г. имели свободный путь в инстанциях и даже издательский успех. К сожалению, полностью подготовленное ею научное издание Архангельского евангелия 1092 г., увидело свет лишь после смерти Л. П. Жуковской, в 1997 г.

Интерес к изданию памятников письменности наметился у Жуковской еще в 60-е годы. Так, в 1960 г. на страницах журнала «Вопросы языкознания» появляется совместная с С. И. Котковым статья «О публикации памятников русского языка и письменности». В ней автор отмечает работу своих предшественников — выдающихся исследователей памятников русского и старославянского языка кон. XIX-первой четверти XX в. Л. П. Жуковская пишет: «За 1895-1917 гг. было опубликовано более 60 крупных рукописей. К ним принадлежат такие, как Новгородские грамоты, Двинские грамоты, Радзивилловская летопись и Повесть временных лет, подготовленные А. А. Шахматовым, Житие Бориса и Глеба и Киево-Печерский патерик (Д. И. Абрамович), Саввина книга и Болонская псалтырь (В. Н. Щепкин), Супрасльская рукопись (С. Н. Северьянов), Хиландарские листки (С. М. Кульбакин), Чудовская псалтырь XI века (В. А. Погорелов) и др. [3:134].

Как уже отмечалось ранее, для Жуковской исследование истории русского языка не мыслилось без привлечения обширного круга источников. Поэтому для нее имело важное значение исследование и издание памятников церковнокнижной письменности, отобранных с учетом старославянского языка. Это особенно существенно, если учесть, что некоторые памятники в южнославянских изводах не сохранились, а иногда и вообще нигде не известны, за исключением русских списков. Некоторые же памятники известны и в южнославянских списках, но в последних не содержат необходимых материалов для некоторых вопросов старославянской грамматики и фонетики.

В указанной статье Жуковская приводит доводы, связанные с необходимостью издания древнейших памятников письменности: 1. Новые факты необходимы для обновления вузовских курсов исторической грамматики и истории литературного языка. 2. Специалисты многих вузов, отдаленных от богатых собраний Москвы и Петербурга, не имеют возможности систематически работать в центральных хранилищах [3:134]. Жуковская считает, что в первую очередь необходимо издать все памятники XI-XII вв.

Основные принципы, связанные с проблемой издания памятников, были изложены ею в статье «Научное факсимильное издание древних рукописей» [4]. В этой статье рассматриваются вопросы факсимильного издания древних и средневековых рукописей, текст в которых написан слитно, старой графикой, с вышедшими из употребления буквами. По мнению Жуковской, факсимильные издания отвечают задачам сохранения и широкого использования древнего рукописного фонда. Необходимо также указать на то, что древние и средневековые рукописные тексты, даже если они написаны уставом или полууставом, а не скорописью, не могут быть поняты без специальных знаний и навыков.

Перед издателем, осуществляющим факсимильное издание, стоит та же задача, что и при подготовке к печати наборного текста древней рукописи: не исказить написаний оригинала и не выдать сомнительные чтения за единственно возможные [4:49].

Но факсимильное издание становится научным не только благодаря более или менее обширному и глубокому справочному аппарату. Научным его делает прежде всего полная идентичность начертаний букв и диакритических знаков издаваемой рукописи.

Слово «факсимиле» означает «точное воспроизведение графического оригинала фотографическим или печатным способом» [4:50]. По мнению исследовательницы, такое издание должно быть действительно точным, а не создавать иллюзию точности.

В научных изданиях древних и средневековых рукописей справочный аппарат совершенно необходим. Прежде всего в нем должны быть оговорены все случаи написаний по стертому или смытому тексту, все случаи наведения текста, даже отдельных букв. Каждое такое исправление, если придерживаться концепции Жуковской, могло изменять содержание и идейную направленность памятника. Все такие исправления должны быть оговорены хотя бы в самых кратких примечаниях. Факсимильное издание воспроизводит нынешнее состояние текста и закрывает историю рукописи. Отметить все поздние исправления — обязанность редактора-издателя, готовящего рукопись к печати [4:56].

В остальном содержание справочного аппарата зависит от характера издаваемого памятника и от воли издателя. Это могут быть статьи с палеографическим описанием рукописи, более или менее подробные комментарии к самому издаваемому тексту, разного рода указатели. Издание может сопровождаться переводом текста, его наборным воспроизведением с разделением на слова и даже словарем или указателем слов и их форм. Необходимо отметить, что Жуковская, какой бы памятник письменности ни издавала, всегда снабжала его объемными вводными статьями, комментариями и таблицами, в которых не только ученый, но и обычный читатель мог для себя найти исчерпывающий материал по этому памятнику.

Исследовательница считает, что при планировании факсимильного издания необходимо одновременно планировать два издания: 500-600 экземпляров фототипии для искусствоведов и библиофилов и несколько тысяч экземпляров для печати глубоким офсетом одноцветной или цветной печатью [4:58].

Таким образом, из статьи Жуковской можно сделать вывод, что факсимильные издания обеспечивают сохранение памятника письменной культуры. Факсимильные издания должны быть научными и обеспечивать не только точное воспроизведение текста (вплоть до малейших деталей начертаний букв и диакритических знаков), миниатюр и художественных украшений рукописи, но и сопровождаться квалифицированной информацией о состоянии оригинала.

В 1983 г. под редакцией Жуковской вышло в свет Мстиславово евангелие (Апракос Мстислава Великого). Следует отметить, что это евангелие на протяжении всей научной деятельности ученой занимает в ее трудах особое место. Именно его Жуковская поставила в центр своей классификации древнерусских полных апракосов: оно возглавляет обширную группу евангелий так называемого Мстиславова типа. Этот тип полного апракоса сохранился во многих десятках древнерусских книг, начиная с XI в. И именно Мстиславово евангелие Жуковская признает основным представителем этого типа, так как оно обладает необходимой для этого древностью, сохранностью и полнотой. Как и в большинстве памятников подобного рода, в нем сочетаются особенности древнейшего (кирилловского) перевода краткоапракосных чтений, более поздние по происхождению особенности полноапракосных чтений, отсутствовавших в кратких апракосах, и многочисленные отличающиеся по языку наслоения последующих переводов и редакций [1:29].

Академик Е. Ф. Карский первым из лингвистов исследовал этот памятник. Также он являлся объектом изучения П. К. Симони. Мстиславово евангелие является самым древним из сохранившихся списков той редакции, которая была распространена на Руси до XIV в. и представлена многими памятниками. Поэтому, по мнению Жуковской, при лексическом и грамматическом изучении любого другого более позднего списка этой редакции целесообразно проводить сравнение именно с Мстиславовым евангелием [7:250]. Памятник представляет следующую ступень древнерусской графики и орнамента по сравнению с древнейшим Остромировым евангелием.

Работа по изданию рукописи осуществлялась под руководством Жуковской. Ею же представлен и подготовлен весь текст рукописи со словоделением и определены тексты в соотношении с тетром, написана вводная часть и составлены перечни-таблицы для чтений и текстов. Сама рукопись создавалась по заказу старшего сына Владимира Мономаха, будущего великого князя Мстислава Великого (1076-1132). Мстиславово евангелие не имеет точной датировки, однако наиболее принятой датой является 1117 г. — конец княжения Мстислава в Новгороде. Рукопись, издаваемая Жуковской, первоначально состояла из 27 тетрадей. На каждом листе с текстом или миниатюрой поставлен номер арабскими цифрами в правом нижнем углу.

Мстиславово евангелие является самым древним сохранившимся полным апракосом (однако в статье «Новые данные об оригиналах русской рукописи 1092 г.» Жуковская считает, что, возможно, первой по древности является вторая часть Архангельского евангелия 1092 г.). Но что не вызывает у исследовательницы сомнения в его первенстве — так это полнота. Кроме того, также необходимо отметить хорошую сохранность памятника.

В предварительных статьях, таких как «Апракос Мстислава Великого — рукопись конца XI (рубежа XI-XII) века», «Князь Мстислав Володимирович и его апракос» рассматривается композиция памятника, расположение частей. В этих статьях Жуковская традиционно подходит к вопросу о времени написания памятника — 1117 г., однако считает, что «наиболее вероятной датой является время построения Благовещенской церкви, вкладом Мстислава в которую и было евангелие, т.е. рубеж XI-XII вв.».

Также в этих статьях поднимается вопрос о месте написания рукописи. Исследовательница считает, что книга не могла быть написана в Новгороде, о чем говорят текстологические данные, т.к. свой полный апракос в Новгороде появился позднее. Что же касается личности писца Мстиславова евангелия, автор придерживается мнения «что он, Алекса Лазаревич, был сыном древнерусского священника и литератора Лазаря, который являлся игуменом Выдубецкого монастыря».

В следующей статье, предшествующей памятнику, «Кодикологическое и палеографическое описание», Жуковская детально описывает рукопись, которая состоит из 27 тетрадей, размер листа в которых после последнего переплетения — 35,9 x 28,5-36,8 x 29 см.

Ученая отмечает, что кроме девятой и двадцать седьмой тетради, все остальные — кватернионы, т.е. состоят из восьми полулистов. На каждом листе в нижнем углу лицевой стороны содержится номер. Вне этой нумерации — защитные листы, которые отделяют четыре миниатюры, расположенные лл. 1, 27, 69, 123 от лицевой стороны последующего листа с текстом из соответствующего евангелия. Таким образом, в Мстиславовом евангелии содержатся 213 пронумерованных листов и 6 нумерованных. В процессе жизни книги были оторваны от корешка листы двадцать шестой тетради.

Для написания книги было заготовлено не менее двадцати семи тетрадей лощеного пергамента, средней толщины, хорошей выделки.

В статье «О фонетическом значении надстрочных знаков и других языковых явлениях» Жуковская пишет о том, что главной особенностью письма Мстиславова евангелия является неслучайное употребление Алексой Лазаревичем надстрочных знаков. Что касается фонетических особенностей Мстиславова евангелия, автор выделяет у писца три степени твердости-мягкости согласных:

1. Твердые — перед гласными заднего ряда.
2. Мягкие согласные — согласные, образованные из сочетаний с *j* или из заднеязычных согласных *k*, *g*, *x* по известным трем палатализациям их.
3. Полумягкие — согласные, не относящиеся к первым группам, в позиции перед гласными переднего ряда.

Четкое и правильное различение писцом трех степеней твердости-мягкости чрезвычайно ценно для историков языка. Указания на полумягкость, исчезнувшую (или исчезающую) еще в середине XI в., могут свидетельствовать о весьма почтенном возрасте писца Мстиславова евангелия, его языковом чутье, а также о сравнительно ранней датировке памятника (ранее 1117 г.). и о реальном времени протекания процесса исчезновения полумягкости, что в достаточной мере подчеркивает важность издания памятника, осуществленного Л. П. Жуковской.

Подводя итоги, можно сказать, что издание, подготовленное Жуковской, включает: вводную статью, содержащую сведения о заказчике, палеографическое описание рукописи, сведения о ее письме и языке, текст рукописи с разделением на слова, разметкой глав и стихов и примечания к тексту, указателя всех употребленных в рукописи слов, перечни-таблицы чтений и текстов.

Сам памятник воспроизводится буква в букву и, главное, что облегчает прочтение текста, с разделением на слова. Слова, написанные под титлами, воспроизводятся так же, как они представлены в рукописи, т.е. титла не раскрываются.

1. Жуковская Л. П. Рукописи полного апракоса Милиятинского класса // Памятники русского языка. Вопросы исследования и издания. — М., 1974.
2. Жуковская Л. П. Реймское евангелие. История его изучения и текст // Предвар. публикации. — М., 1978. — Вып. 114.
3. Жуковская Л. П., Котков В. И. О публикации памятников русского языка и письменности // Вопросы языкознания. — 1960. — № 4.
4. Жуковская Л. П. Научное факсимильное издание древних рукописей // Проблемы научного описания рукописей и факсимильного издания памятников письменности: Материалы всесоюз. конф. — Л., 1981.
5. Жуковская Л. П. Апракос Мстислава Великого - Рукопись кон. XI века // Апракос Мстислава Великого. — М., 1983.
6. Жуковская Л. П. Назначение чтений и содержание текстов в их последовательности // Апракос Мстислава Великого. — М., 1983.
7. Жуковская Л. П. Несколько страничек из истории филологической науки: Русские академики и издание Мстиславова евангелия // Восточные славяне: язык, история, культура. — М., 1985.

- АЗАРОВА Лариса Євстахіївна** — кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства Вінницького державного технічного університету
- БАРАННИК Людмила Федорівна** — кандидат філологічних наук, доцент кафедри російської мови ОНУ
- БОНДАР Олександр Іванович** — доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови ОНУ
- ВЕСНА Тетяна Василівна** — асистент кафедри французької філології ОНУ
- ВОЙЦЕВА Олена Андріївна** — кандидат філологічних наук, доцент, докторант кафедри загального та слов'янського мовознавства ОНУ
- БОЛОШИН Володимир Григорович** — кандидат філологічних наук, ст. наук. прац. лабораторії експериментальної фонетики ОНУ
- ЖАБОРЮК Олена Анатоліївна** — кандидат філологічних наук, доцент кафедри граматики англійської мови ОНУ
- КАРПЕНКО Юрій Олександрович** — доктор філологічних наук, професор кафедри української мови ОНУ
- КНИШ Олена Володимирівна** — кандидат філологічних наук, доцент кафедри російської мови ОНУ
- КОВАЛЕВСЬКА Тетяна Юріївна** — кандидат філологічних наук, доцент, докторант кафедри української мови ОНУ
- КОН Олена Олександрівна** — аспірант кафедри російської мови ОНУ
- КОНДРАТЕНКО Наталя Василівна** — аспірант кафедри російської мови ОНУ
- ЛУЧИК Алла Анатоліївна** — кандидат філологічних наук, доцент, докторант Українського мовно-інформаційного центру НАНУ
- МАРИНАШВИЛІ Мальвіна Джангізівна** — кандидат філологічних наук, доцент кафедри французької філології ОНУ
- НАРУШЕВИЧ Оксана Вікторівна** — аспірант кафедри української мови ОНУ
- ПЕЙЧЕВА Ольга Миколаївна** — аспірант кафедри загального та слов'янського мовознавства ОНУ
- ПОПОВА Олена Миколаївна** — аспірант кафедри російської мови ОНУ
- СТЕПАНОВ Євген Миколайович** — кандидат філологічних наук, доцент, докторант кафедри російської мови ОНУ
- УСТИНОВА Ольга Олександрівна** — аспірант кафедри граматики англійської мови ОНУ
- ФОМІНА Юлія Борисівна** — аспірант кафедри граматики англійської мови ОНУ
- ХАРИТОНОВА Марина Михайлівна** — кандидат філологічних наук, доцент кафедри російської мови ОНУ
- ШВЕЦЬ Альона Іванівна** — аспірант кафедри російської мови ОНУ
- ШИШКОВ Володимир Васильович** — кандидат філологічних наук, доцент кафедри іспанської філології ОНУ
- ЯРОВА Ліліана Вікторівна** — аспірант кафедри російської мови ОНУ

101

Наукове видання

МОВА

**Науково-теоретичний часопис
з мовознавства**

№ 5–6, 2001

Фонетика • Семантика • Лексикологія • Синтаксис

**Українською, російською, іспанською
мовами**

Зав. редакцією **Т. М. Забанова**
Технічні редактори **Р. М. Кучинська,**
А. В. Павлишко

Здано до набору 01.02.2001. Підписано до друку 01.03.2001. Формат 60×84/8.
Папір офсетний. Гарнітура Таймс. Друк офсетний. Ум.-друк. арк. 12,09.
Обл.-вид. арк. 10,92. Тираж 300 прим. Зам. № 65.
Видавництво і друкарня "Астропринт"
(Сьоліцтво ДК № 132 від 28.07.2000 р.)
65026, м. Одеса, вул. Преображенська, 24.
Тел. (0482) 26-98-82, 26-96-82, 68-77-33.
www.astroprint.odessa.ua

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ ІМЕНІ МЕНШКОВА